

ПОСЛЕДНИЙ
СОЛДАТ
ИМПЕРИИ



Александр

ПРОХАНОВ

«КОНТРАС»
НА ГЛИНЯНЫХ
НОГАХ



Александр Проханов

«Контрас» на глиняных ногах

«ЭКСМО»

2007

Проханов А. А.

«Контрас» на глиняных ногах / А. А. Проханов — «Эксмо», 2007

Подполковник внешней разведки Виктор Белосельцев, выдающий себя за журналиста, летит в Никарагуа, где сандинисты ведут изнурительную войну с «контрас», а по сути – с Соединенными Штатами Америки. Задание у разведчика крайне сложное: он должен выяснить вероятность возникновения более страшной и разрушительной войны, куда неминуемо будут втянуты наша страна и США. И не только выяснить, но и попытаться предотвратить катастрофу. Белосельцев отправляется в самое сердце джунглей, в район реки Рио-Коко, где нарастает кризис и решается судьба мира.

© Проханов А. А., 2007

© Эксмо, 2007

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	17
Глава третья	33
Глава четвертая	46
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Александр Проханов

«Контрас» на глиняных ногах

Глава первая

Служебная машина мчала его, подполковника внешней разведки, от Пушкинской площади, в дождливом сверкании, мимо туманных домов, потных витрин, блестящих, словно покрытых льдом памятников. Деревья, как золотые шары, катились по бульвару, и под каждым на черной земле было озерцо опавшей листвы. Он смотрел, как на стекле дрожит дождевая капля, и в этой крохотной, готовой сорваться капле переливается отражение малиново-белого Петровского замка, огромного лепного фасада у «Сокола», моста с бронзовым монументом автоматчика. Каплю сдуло, и вместе с ней кануло разноцветное отражение города, крохотная частица его прожитой, невосполнимой жизни.

Когда перепорхнули ветреный канал с застывшим, словно белое дождевое облако, кораблем и вынеслись на прямое шоссе, он почувствовал, как нечто в его душе стало напрягаться, растягиваться, выделяя из своей глубины другую, потаенную сущность. Так происходит деление клетки, рождение второго ядра. Они еще рядом, вместе, окружены единой пульсирующей протоплазмой. Но вот возникла между ними перемычка. Утончается, удлиняется, рвется. И новая жизнь, заключенная в капельке белкового сока, бьется, стучит, расчищает себе место в бесконечном Мироздании среди светил и галактик. Так раздваивалась его душа в предчувствии нового грозного опыта. Одна половина оставалась сзади, в удалявшейся осенней Москве, являлась хранилищем прожитой жизни. Другая, нарождавшаяся, устремлялась вперед, по шоссе, готовая жадно жить, узнавать, усваивать каждое отпущенное жизнью мгновение, одно из которых могло оказаться мгновением смерти.

По дуге, окруженные брызгами, за красными хвостовыми огнями туманных машин, подкатали к аэропорту с высокой надписью «Шереметьево», заключенной в размытое розовое зарево. Саквояж из багажника. Рукопожатие шофера. Плавно, беззвучно распахиваются стеклянные двери. Волна душистого теплого воздуха, пахнущего дорогим табаком, кожаными чемоданами и баулами. Электронное табло, где по черному, словно на бархате, вышиты хрупкие серебряные надписи самолетных рейсов. Глаза мгновенно выхватывают сложенные из кристалликов света письма: «Москва – Манагуа». И мысль: «Так называется новая глава моей летописи, еще не написанная, но уже существующая, как сверхплотная спираль, готовая распрямиться, сверкнуть, раскрыться зрелищами океанов и гор, солнечных городков, движением военных колонн, лицами смуглых белозубых людей, творящих свою революцию».

Знакомые, неизбежные процедуры, каждая из которых, как маленький шлюз, поэтапно отдаляет тебя от Родины. Заполнение декларации, где ты заверяешь таможенников, что не везешь с собой оружие и боеприпасы. Зачем их везти в страну, где оружие стреляет из каждого куста и окошка и тебе всегда подберут бразильский револьвер с игривой резьбой на ручке, или поношенную «М-16» с лысым стальным стволом, или парочку советских гранат, которые будут болтаться у тебя между ног, когда «Тойота» с охраной двинется по ухабам тропической сельвы.

Пограничник с зеленым околышком твердыми, врезанными в подлобье глазами много раз сверит твоё лицо с фотографией, вклеенной в обычный, общегражданский, «красный» загранпаспорт, из которого никто не узнает твоё офицерское звание, истинный род занятий, убранство кабинета на Лубянке, где накануне ты получал последние наставления и инструкции. Ты – не более чем журналист, уже известный своими репортажами из Афганистана, Кампучии и Африки, и теперь, в неумемной погоне, ты летишь за океан, за новой порцией боевых впечатлений.

Он перемещался из стеклянного отсека в отсек, проходя через турникеты, электронные детекторы, зоны контроля, получая хрустящие штампы в паспорт, на меловую бумагу билетов. Все больше удалялся от недавнего бытия, порывая с Москвой, становясь все легче и легче, словно его освобождали от излишней плоти, обременительных бытовых переживаний и повседневных забот, открывая в душе незанятое, пустое пространство.

Бар, куда он обычно присаживался с рюмкой коньяку, среди разноцветных бутылок, мелодичных мембранных голосов, приглашающих на посадку, был местом краткого отдохновения, когда легкий ожог бархатного хмеля погружал его в смуглое, чуть затуманенное пространство с высокими стульями, на которых сидели тощие белоголовые шведы, жующие бутерброды, два индуса, мужчина и женщина с малиновым пятнышком между черных бровей, пили кофе, трое русских, шумно смеясь, делали из водки и томатного сока «Кровавую Мэри», а за толстыми стеклами в дождливых сумерках начинал дышать реактивный двигатель, часть взлетного поля трогалась с места, уходила с мигающими габаритными огнями, обнаруживая белую мокрую плоскость, погружаясь в туманную даль.

Было приятно сидеть одному в шапке-невидимке, которая скрывала от мира его истинную принадлежность. Легенда о его журналистской профессии позволяла вольно перемещаться по свету, вступать в бесчисленные контакты, погружаться в хитросплетение людских отношений, сохраняя при этом внутреннюю неподвижность, возможность созерцать и оценивать, холодно судить и исследовать. Он, разведчик, летел в Никарагуа, где сандинисты вели изнурительную войну с «контрас». Побуждаемые Кубой, стремились расширить свое влияние на соседние Гондурас и Сальвадор. Требовали советских военных поставок. Война, которая там разгоралась, была еще одним бикфордовым шнуром, что, дымясь, приближался к громадному складу взрывчатки, способной разрушить Землю, столкнуть ее с оси, превратить в рыхлое облако пепла. Он должен был выяснить вероятность большой войны на континентах Америки. Понять смысл военной интриги сандинистов и кубинских советников, провоцирующих вторжение с севера. Возможность американского десанта с моря и суши, что повлекло бы за собой вступление в конфликт советского контингента на Кубе. Коньяк медленно таял в рюмке, помещая его мысли в хрупкую прозрачную оболочку, как орнамент осеннего кленового листа, запаянного в ледяную тонкую корочку.

Огромная, кольчатая кишка соединяла стеклянный накопитель с бортом лайнера. Толкала своей перистальтикой медлительные сгустки пассажиров. Белосельцев попал в самолет, в теплый уютный салон, освещенный матовыми светильниками. Люди пробирались к хвосту, хлопали крышками шкафов под полукруглым потолком, усаживались в кресла. Поудобнее размещали свои тела, встраивая их в невидимую, бесконечно длинную траекторию, прочерченную над континентом Европы, ночным океаном, к далеким берегам другого полушария, где ждали приземления самолета.

Он нашел свой ряд там, где в иллюминаторе виднелись белый бивень крыла и круглая чаша турбины. У иллюминатора сидела женщина. Не разглядев ее хорошенько, на всякий случай приветливо ей улыбнувшись, Белосельцев небрежно сунул саквояж в нутро багажной полки. И услышал недовольный, слишком резкий возглас женщины:

– Пожалуйста, осторожней, там мой плащ и коробка!

Эта нелюбезная резкость в ответ на его улыбку неприятно уязвила Белосельцева. Он заглянул в полость шкафа, где стояла картонная перевязанная коробка, чуть прикрытая дамским плащом.

– Не волнуйтесь, ваш багаж уцелел. Моя сумка находится на почтительном расстоянии от вашего плаща, и между ними не предполагается никаких отношений. – Произнеся эту язвительную, чуть выпренную фразу, Белосельцев уселся в соседнее кресло. Старался быть предельно компактным, чтобы не коснуться невзначай строптивой соседки, продолжая испы-

тывать к ней неприязнь. Досадовал, что это соседство продлится десять часов. И тут же усмехнулся своей восприимчивости – эта антипатия, которую они невзначай проявили друг к другу, была первым, едва ощутимым конфликтом в его начавшемся странствии. Конфликт психологический не сулил угроз и опасностей, а только временное снижение комфорта.

Третье, крайнее кресло собирался занять черноусый молодой человек с коричневым скуластым лицом, в котором, как в красивой отливке, сплелись испанская бронза и индейское золото, создавая расовый тип, именуемый «латинос».

– Добрый вечер. Здесь свободно? – спросил он с легкой неправильностью, выговаривая хорошо выученные, но неудобные для произношения слова.

– Добрый вечер, – ответил по-испански Белосельцев, приглашая в кресло. – До Гаваны или в Манагуа?

– Домой, в Никарагуа, – по-русски радостно ответил новый сосед, опускаясь в кресло, с облегчением распуская сухие длинные мускулы, натренированные в упражнениях.

– Были в гостях в Москве? – спросил Белосельцев, снова пуская в обращение свой нестойкий испанский.

– Учился, – добродушно ответил никарагуанец.

– Военный? – не удержался Белосельцев, не надеясь получить утвердительный ответ молодого офицера, проходившего обучение в военной академии или стажировку на специальных военных курсах.

– У нас в Никарагуа сегодня все военные. Даже женщины, – ответил по-испански сосед с добродушной белозубой улыбкой, с выпуклыми, как коричневые вишни, глазами, в которых загорелись и тут же погасли мимолетные искры тревоги.

Молодая женщина не поворачивала к ним головы с золотистой короткой стрижкой. Белосельцев быстро оглядел ее всю, от красивого плотного жакета и шелковой блузки, из которой подымалась нежная белая шея с золотыми капельками цепочки, до широкой свободной юбки, из-под которой виднелись круглые колени. На этих коленях покоились ее руки с маникюром, в золотых колечках с крохотными рубиновыми и изумрудными камушками. Она подняла к глазам запястье, где ободком поблескивали маленькие часы на узорном браслете. И все ее одеяние, цепочка, часы и колечки оказались Белосельцеву тщательно подобранными, скрупулезно продуманными, мелочно сконструированными. Он решил, что она принадлежит к тем женщинам, что лишены естественности и свободы, но в непрерывных усилиях создают свою внешность, искусственно формируют свой облик, манеры, судьбу, выстраивая ее из множества мелких ухищрений, достигая в конце концов своей цели – выгодного замужества, удачной карьеры, создания вокруг себя удобного мирка, незатейливого и нарядного, как елочная игрушка. «Елочная игрушка» – так окрестил ее Белосельцев, по-прежнему не прощая ей нелюбезность, причисляя к тем особам, что наполняют посольское сообщество, состоящее из жен дипломатов и секретарш, мелочных, языкастых, с неоправданным самомнением.

Самолет лениво, с шелестящими турбинами двигался по взлетному полю, озаряясь пульсирующей рубиновой вспышкой. Замер, вцепившись в ночной бетон, сотрясаясь от нарастающей тяги, свирепого рева, металлического свистящего звона. Тронулся плавно и мощно, превращая мазки лиловых аэродромных огней в летящий пунктир. Белосельцев закрыл глаза, ощущая спиной слепое давление скорости. Каждый раз при взлете он повторял давнишнюю бессловесную молитву. Не о спасении и избежании смерти, а о милосердии Бога, в чьи руки он передает свою судьбу. Огромная могучая ладонь подняла самолет, стала возносить в темное небо, и Белосельцев, благодарный и верящий, отрешаясь от страхов, полагался на всеведущую и вездесущую силу, управлявшую его малой, быстротечной жизнью. Эта воля в который раз направляла его в загадочное странствие, где он среди искушений, смертей и опасностей станет собирать бесценный опыт разведчика, посланного не генералом Лубянки, а Всевышним Творцом, терпеливо поджидающим его возвращения. Встретит на пороге небесных палат. Обратит

на него строгий прекрасный лик. И он, Белосельцев, завершив земные странствия, раскроет свою ладонь, покажет Господу добытую в мире маковую росинку знаний.

Самолет делал медленный прощальный вираж, и Москва, как туманная, млечная водоросль, всплывшая из черных глубин Мироздания, удалилась и канула.

Он летел в самолете, оттолкнувшись от вечернего кристаллического «Шереметьева», погружаясь в волнообразные рокоты и гулы турбин, которые, как веретена, выпрядали бесконечную поднебесную нить. Его дремлющий дух до времени отворачивался от надвигавшихся земель и событий, к которым нес его самолет. Не желал преждевременной встречи с тем, что побуждало бы его действовать, думать, тратить себя в бесчисленных контактах с новой чужой реальностью, соединяя себя с ней точечной электрической сваркой.

Его сонная мысль слабо мерцала, погруженная в кокон вялого тела, отданного на откуп огромной, мерно дышащей машине. В кармане его пиджака лежала сложенная карта Никарагуа. В бауле покоились блокнот, фотокамера, портативный складной сачок с ветхой, тщательно заштопанной кисеей, испещренной блеклыми желто-зелеными крапинами – следами ударов по африканским травам, кампучийским цветам, афганским горным поляням. Застывшие медовые капельки, пыльца, сок травы были метинами бесчисленных беззвучных смертей, пропитавших собой кисею.

Его сознание, под стать самолету, оставлявшему лунный клубящийся след, невнятно пульсировало, порождая отлетающий шлейф видений. Мать в качалке о чем-то умоляет и просит. Друг детства в чем-то яростно, но беззвучно его убеждает. И какой-то пруд с синей тихой водой нагнал его в небесах и плыл за ним всей своей нерасплесканной влагой. Бабушкина чашка настигла его и некоторое время летела, мерцая золотым ободком, а потом отстала.

Внизу, накрытая облаками, проплывала Европа, и он из небес опускал на нее шатер своих воспоминаний. Варшава с Маршалковской в высоких свежих фонарях, с медлительным скрипучим трамваем, бросающим с дуги зеленую нарядную искру, и какая-то женщина в сумрачном номере, запахивая розовый теплый халат, тянет к нему бокал шампанского. Германия с полноводным и сонным Рейном, по которому плыл мимо уютных зеленых городков с красными черепичными крышами и готическими острями соборов, и утром к пристани подлетели четыре разноцветных «Ситроена», совершавших пробег «Париж – Гамбург», с выпученными зеркальными фарами, и водители, белесые, одинаковые, как близнецы, пили сок из бутылок. Голландия в свинцовом блеске каналов с сырыми сочными лилиями, железный порт Роттердама с бесконечными рядами нефтехранилищ, словно огромная птица отложила на берегу желто-белые яйца, ночные тесные улочки, где в витринах сидят расцветенные, как попугаи, красавицы, улыбаются малиновыми влажными ртами, длинный негр входит в тесную дверь и красавица роняет на окошке штору.

Он летел над ночной Европой, где противостояли друг другу недремлющие грозные армии, военные радары охватывали самолет незримыми щупальцами, неслышно бились о фюзеляж электронные позывные и коды. Но разум отталкивал от себя знание о рассеченном надвое континенте. Не здесь, не в Европе находилась цель его странствий.

В самолете было темно. Пассажиры спали. Лишь над редкими креслами из панелей светили узкие лучики, наполненные голубым дымом сигарет. Белосельцев достал из кармана карту Никарагуа. Нажатием кнопки включил наверху яркий фонарик. Подставил под него карту с коричнево-желтыми Кордильерами, сочной синевой двух омывающих страну океанов, с зелеными языками сельвы, в которой струились реки.

– Летите в Манагуа? – Сосед-никарагуанец не спал. Потянулся к карте, которая приближала появление родины.

– Вы живете в Манагуа? – Белосельцев нашел столицу, разместившуюся на западных отрогах коричневых гор, среди которых были помечены действующие вулканы.

– В Лионе. – Сосед длинным смуглым пальцем показал родной город, не слишком далеко от столицы, рядом с голубой волнистой кромкой прибоя. – Военный? – задал Белосельцеву запоздалый встречный вопрос, полагая, что высота ночного неба допускает откровенность.

– Журналист, – ответил Белосельцев, привычно проваливаясь в глубину своей легенды, как проваливается тяжелый камушек сквозь сочную пеструю рясу, залегающую на дне.

– Хотите написать о нашей борьбе? Война повсюду, от залива Фонсека до Атлантик кост. От Сан-Педро-дель-Норте до Пуэрто-Кабесас. «Контрас» атакуют нас из Гондураса и из Коста-Рики. У нас много отличных бойцов, но не хватает оружия. Может быть, Советский Союз пошлет к нашим берегам корабли и подводные лодки? Поможет нам вертолетами и штурмовиками?

– Уверен, вас не оставят в беде.

– Если бы у нас были самолеты и танки, мы бы захватили Гондурас, освободили Сальвадор, а если прикажут, дошли бы до Калифорнии.

– Это значит – мировая война.

– Это значит – мировая революция, которую ждут все народы.

Белосельцев посмотрел на смуглое молодое лицо, выпуклые, вишневые глаза, потемневшие от страсти. Рядом сидел революционер из страны неостывших вулканов.

– Я прошел в Советском Союзе ускоренные офицерские курсы, и меня срочно отозвали обратно. Не знаю, удастся ли мне побывать в Лионе, навестить родителей. Или же сразу отправлюсь в Пуэрто-Кабесас, где стоит моя бригада. Индейцы «мискитос» подняли восстание, и от того, сумеем ли мы его подавить, зависит судьба Революции.

– Хочу побывать в Пуэрто-Кабесас. – Белосельцев отыскал на Атлантическом побережье кружочек населенного пункта. Черную точку на карте, в которой, как в сверхплотном бутоне, трепетали наполненные соками лепестки его нераспустившейся судьбы. Зеленая сельва, источенная руслами рек, редкие, окруженные болотами дороги, ведущие в Гондурас, на границе, разделяя две враждующие страны, темная гибкая струйка с надписью «Рио-Коко», бегущая к океану.

Он почувствовал, как самолет качнуло, словно на огромной высоте тот попал в восходящий воздушный поток. Или сложилось вместе притяжение нескольких небесных светил, и лайнер чуть заметно сместился. Это смещение было подобно головокружению, расслоению пространства. Одно его «я» оставалось сидеть в самолете, склонившись над картой, на которую падало белое зеркальце света, зеленела краска, изображавшая сельву, темнела струйка с надписью «Рио-Коко». Другое его «я» сидело в мокром долбленом каноэ, стоял на носу ручной пулемет, крутились за бортом шоколадные воронки воды, и в них, желтея брюхом, скрючив хрупкие лапки, плыл мертвый детеныш крокодила. В этом раздвоении открывалась возможность постижения истины, раскрытия тайны мира, упрятанной в трехмерную, причинно-следственную конструкцию разума. Разгадка была близка, покров распадался, приближалось нечто ужающе-грозное, ослепительно-прекрасное, объяснявшее его появление в мире, этот поднебесный полет, соседство с молодой дремлющей женщиной, зайчиком света, упавшим на струйку реки. Это длилось мгновение и кончилось. Чехол застегнули на длинную плотную «молнию», в нем укрылась недоступная разумению тайна.

Он проснулся при подлете к Шенону – стук выпускаемого шасси, близкое, проносющееся в черноте скопление огней, мигающий холодный маяк у края невидимого моря, угадываемого по черной пустоте. Пассажиры, недовольные пробуждением, потянулись из самолета в здание аэропорта, пустынное, хромированное, с запертым супермаркетом, дразнившим сквозь решетки недоступным многоцветным товаром. Работали лотки, где продавались часы, сувениры, брелоки, дешевая мишура, поглазеть на которую отправилось большинство пассажи-

ров, находя удовольствие в рассматривании заморских безделушек, жалея на их покупку свои необильные доллары.

Белосельцев подошел к дубовой стойке бара с разноцветными подсвеченными бутылками, с прозрачными подвешенными рюмками, похожими на мыльные пузыри, с фарфоровой расписной колонкой, из которой торчал начищенный пивной кран. Бармен, настоящий ирландец, сухошавый, рыжий, с кудлатыми бачками и веснушками на впалых щеках, поднял на Белосельцева холодные синие глаза, стараясь изобразить приветливость.

– «Хайнекен». – Белосельцев указал на высокие толстостенные кружки, батареей стоящие на мраморной плите.

– Конечно. – Бармен ловко подставил кружку под кран, из которого упала и вспенилась, загуляла в стекле живая черно-коричневая струя, наполняя кружку, вздуваясь у краев густой, желтовато-белой пеной, похожей на всбитые сливки. – Прошу. – Бармен поставил перед Белосельцевым кружку, от которой подымался вкусный, терпкий, горьковатый запах темного ячменного пива. Поднял за влажную ручку тяжелый сосуд. Окунул губы в пену, которая зашептала ноздри. Стал глотать ее, чувствуя плотную мякоть.

Пиво было отменным. Бармен смотрел, как он пьет, получая удовольствие от вида наслаждающегося человека, заглянувшего в его ночной пустующий бар.

– Отличный «Хайнекен». Стоило здесь приземляться, – сказал Белосельцев, перехватив взгляд холодных наблюдающих глаз.

– В Советском Союзе есть «Хайнекен»? – поинтересовался бармен.

Белосельцев, не отрывая губы от округлого толстого края, медленно всасывая горькую душистую струю, отрицательно покачал головой.

– А что есть? – полюбопытствовал бармен.

– Баллистические ракеты. – Белосельцев заставил себя оторваться. Сбил пену с губ тыльной стороной ладони.

– Их нельзя пить, – философски заметил бармен.

– Да мы и не пробуем. – Белосельцев снова поднес к губам кружку. Бармен, не желая показаться назойливым, отошел в глубь бара, вытирая полотенцем и без того прозрачно-чистую, круглую, как шар, рюмку.

Белосельцев сидел, с наслаждением потягивал пиво, дорожа этой часовой паузой в замкнутом стеклянном объеме ночного порта, за пределы которого он никогда не выйдет, не проникнет в глубь незнакомой и ненужной ему страны с ее средневековыми замками, гранитными дольменами, выбитыми на замшелых скалах древними кельтскими рунами. Все это останется для него навеки непознанным, отделенным стеклянной призмой порта, где Ирландия сполна представлена одиноким рыжим барменом и бочковым коричневым пивом.

Пассажиры, устав бродить у лотков, расселись по креслам, терпеливо ожидая, когда зазвучит переливами трансляция и женский голос на английском возвестит о начале посадки.

Он заметил свою спутницу, сидящую невдалеке, – ее красивый плотный жакет, шелковую блузку, просторную юбку, слегка прикрывавшую круглые розоватые колени. Она казалась задумчивой, красивой. Ее волосы слабо отливали золотым светом, она была сосредоточена на какой-то печальной, не отпускавшей ее мысли. Белосельцев смотрел на нее, пользуясь тем, что она не поднимает глаз. От недавней неприязни не осталось следа. Ее сменило странное созерцание, когда зрачки вдруг останавливаются, перестают дрожать, превращаясь в кристаллики льда, и объект созерцания начинает удаляться по световому лучу, окруженный едва заметным сиянием. Так и она, со своими золотистыми волосами, белой открытой шеей, сжатыми тесно коленями, стала вдруг удаляться, помещенная в слабое золотистое зарево. И он, не мигая, как ясновидец, смотрел на нее.

Ему вдруг показалось возможным подойти к ней, взять за руку, увести из этого зала, сквозь прозрачную стену, в дождливую ночь, в другую страну и жизнь, которая начнется

сразу же, как только выйдут на ветреное, дождливое шоссе с убегающими рубиновыми огнями машины. И другая жизнь примет их, укроет, изменит предначертанные им обоим судьбы. Изменив имена, обманув судьбу, они исчезнут из вида знающих их людей, и то место, где их поджидают, где им уготована задуманная роль и задача, останется пустым. Метеорит, летящий из бездны по рассчитанной траектории, желающий их поразить, ударит в пустое место.

Это продолжалось мгновение. Лед в зрачках растаял, они дрогнули. Там, где было сияние, повисло легчайшее облачко испепеленной иллюзии. Булькающий женский голос объявил по-английски посадку на рейс «Аэрофлота».

Они летели на огромной высоте, близко к туманным звездам, над океаном, который незримо окутывал самолет своей влажной восходящей тьмой. Пассажиры спали, горело несколько освещенных табло. В бесчисленных вибрациях дребезжала обшивка, будто под нее пробрались металлические кузнечики, неумолчно скрежетали своими ножками и усиками. Белосельцев откинулся в забытье, паря между звездами, где реяли безымянные небесные духи, и океаном, где ныряли подводные лодки, всплывали ночные киты, мерцал и переливался в течениях зеленоватый планктон.

Он вдруг почувствовал, что пальцы его, лежащие на подлокотнике, касаются женской руки. Это было прикосновение во сне, от которого она не проснулась. Недвижны и безмятежны были ее близкие лоб, неслышно дышащие губы, гибкая, выступавшая из ворота шея. Он хотел было убрать свои пальцы, но удержал их, боясь потерять это нечаянное касание. От нее исходило слабое тепло сна, едва уловимый запах тонких духов. Его пальцы, прикасаясь к ее открытому запястью, казалось, улавливали слабые биения и переливы, блуждающие вместе с ее сновидениями.

Был грех продлевать это случайное прикосновение, но он не убирал руку. Неслышные потоки переливались из ее руки в его пальцы, и ему казалось, что он узнает ее. Без слов, повествований, исповедей. Во всей полноте ее прожитой жизни и еще предстоящей судьбы. Ему чудилось, он знает, какой она была в детстве, какую носила косу, какой повязывала бант. Каким было убранство ее комнаты с игрушками, книжками, нотной тетрадью на раскрытом пианино. Узнавал о ее первой влюбленности, о близости с первым мужчиной. О ее семье, работе, хлопотах, огорчениях. Узнавал о ее мечте, тревоге, неутоленном ожидании и предчувствии. И все это без слов, без образов, без отдельных картин, а во всей полноте, через тепло, льющиеся потоки, слабые биения. Из ее запястья переплескивалась ее жизнь, как если бы у них стали общими кровяные сосуды, нервные волокна, телесные ткани.

И она, не просыпаясь, узнавала все о его жизни: о путешествиях, о военной профессии, о самых неназываемых потаенных секретах, о тайных прозрениях и печалях. Узнавала о его страстях и пороках, о его ожидании чуда, которое заставляло двигаться по землям и странам, безнадежно выкликать это чудо, каждый раз от него ускользавшее. Она знала о его коллекции бабочек, об ожогах, полученных в афганском ущелье, о рубцах, напоминавших об африканской дороге. Все мысли, которые у него сейчас возникали, тут же превращались в ее сновидения. И теперь ей снилась большая кампучийская бабочка, золотая, в темных прожилках, пойманная им в Батамбанге.

Это напоминало переселение душ. Или непорочное зачатие. У них было одно тело, одна душа, одно существование. Как единое существо, они летели над океаном, на огромной высоте, под близкими звездами.

Она слегка шевельнулась во сне. Их руки распались. Изумленный, не умея объяснить пережитое, он слушал, как затихают в нем теплые потоки и волны, гаснут, удаляясь, биения.

Он проснулся от колыхания менявшего курс самолета. В иллюминаторе был профиль молодой спящей женщины, начинавшее светлеть темно-синее небо, близкая водянистая звезда и внизу, за оконечностью крыла, размытое желтое зарево.

– Флорида!.. Майами!.. Гринго! – сосед-никарагуанец не спал, тянулся на это зарево, словно пробовал его на вкус губами, вдыхал нервными расширенными ноздрями, как лошадь, чувствующая близость волка. Оттуда, из размытого свечения, летели волны опасности, которые перехлестывали границы его родины, стреляли из автоматов, пикировали самолетами, превращались в пожары и взрывы, в скоротечные стычки и похороны. Белосельцев височной костью чувствовал отдаленную громаду Америки, которая была стратегическим противником его страны, сближала его с этим никарагуанским молодым офицером, делала их солдатами одной армии.

Женщина проснулась, посмотрела на росистую звезду, на электрическую ночную зарю близкого побережья. Чуть потянулась, расправляя воротник блузки. Быстрыми касаниями поправила прическу. Чуть отодвинулась от Белосельцева. Он был ей неинтересен и чужд. И она была чужой и ненужной, будто и не было переселения душ, непорочного проникновения друг в друга.

Быстро, словно отдергивали занавес, светало. Тускло, латунно сверкнул океан. Была видна бесконечная океанская рябь, похожая на чеканку, и крохотный, едва различимый корабль. В утренней, бурно налетавшей заре, устремляясь вниз к океану, к сине-зеленому шелку, белым кружевам прибоя, песчано-белым пляжам, они опускались в Гаване. Покидая салон, на трапе он задохнулся от жаркой влаги, сладкого липкого воздуха, который, как в сауне, был пропитан эвкалиптом, душистым дурманом, и его тело, чувства, внутренние органы, попавшие из северного тусклого предзимья в ослепительные горячие тропики, испугались, восхитились, и лицо покрылось тончайшей пленкой, словно к нему приложили лепестки маслянистых роз.

Часовую стоянку он провел в баре, потягивая прохладную кока-колу, жадно рассматривая окружающих его людей, наслаждаясь их жестами, мимикой, звуками их языка.

Тучная, колышущаяся негритьянка, наполнявшая просторное платье своими выпуклостями, складками, жировыми отложениями, энергично убирала со столов посуду. Старейший, с седыми колючими усиками мулат ловко щелкал крон-пробками, открывая бутылки с кокой, и казалось, он играет на музыкальном инструменте. Солдат-кубинец с карибскими смуглыми скулами, похожий на свежую бронзовую отливку, спокойно и величаво пил апельсиновый сок. Пассажиры испанского рейса «Иберия», шумные, подвяленные, как сухофрукты, бурно жестикулировали, обсуждая какой-то пустяк. Окруженный испаноязычными людьми, глядя на далекие перистые пальмы, раскачиваемые ветром, на белый, взлетающий спортивный самолетик, Белосельцев радостно ощутил себя в недрах другого континента, наполненного иной жаркой расой, огненной музыкой, певучей речью, невянущими вечнозелеными растениями, экзотическими бабочками, и он, отличный от них, острее ощущал свою внутреннюю сущность, исключительность и несхожесть, отчего окружавшие его люди и звуки становились еще привлекательней.

Когда поднялись над Кубой, совершая последний перелет в Манагуа, он увидел в иллюминаторе, как остров, покрытый тропической зеленью, превращался в ржаво-красное, жарко-кипящее болото, затем в медно-зеленое, окисленное побережье, бирюзовое мелководье, в чистую сияющую лазурь, сквозь которую просвечивали рифы, донные скалы, и казалось, остров продолжает расти, выступает из океана, осаждает на себе океанские окислы, и он наблюдает из самолета извечную, первозданную химию жизни, создающую из рассола материки, континенты, покрывая их лесами и травами, выпуская тварей и птиц, создавая человека, ввергая род людской в непрерывные борения и распри, и из этих распри из века в век добывается тончайший осадок истины.

Женщина, как и он, смотрела на океан. Самолет медленно поворачивался, луч скользнул по ее золотистым волосам. Белосельцев вдруг подумал, что она, словно поводырь, ведет его от Москвы, через ночную Европу, над великим океаном, к американскому побережью. «Как статуя на носу корабля», – усмехнулся он. И тут же суеверно, словно языческую богиню, попросил, чтобы она благополучно довела его до урочного места.

Он закрыл глаза, спасаясь от ровного, близкого света алюминия за стеклом, от белесоголубого, в бесчисленных выбоинах океана, над которым несли его надсадно ревущие, утомленные турбины. Почувствовал колыхание воздуха на кромке воды и суши. Внизу, пятнистая, зелено-коричневая, повторяя цвет карты, мчалась земля. Голубой залив был окружен белой каймой прибоя. Островерхо и мощно, как насыпанный террикон, поднималась гора, и рядом – другая, многократно уменьшенная, повторяя очертания первой.

– Момотомбо!.. – с наслаждением, гулко, как удар бубна, произнес сосед-никарагуанец, указывая на вулканическую гору. – Момотомбино!.. – нежно, как выговаривают имя ребенка, назвал он имя маленькой горы. – Садимся!.. Манагуа!.. – И он жарко, счастливо дышал, глядя на зеленую кудрявую землю, с полями и трассами, посылавшими в небо металлические и стеклянные блески.

Прикосновение самолета к поверхности замкнуло в Белосельцеве невидимые контакты, приводя его тело и дух в состояние бодрой готовности, подключая к сознанию скрытые, сбереженные ресурсы энергии, необходимые для первых встреч, объяснений, знакомств. С этих первых незначительных встреч начиналось освоение неизвестной среды, полной опасностей и загадок, среди которых ему предстояло работать.

Промчалось белое, с диспетчерской вышкой, здание аэропорта. Мелькнули свежоотрытые, красноватые капониры с зенитками и солдатами в камуфляже. Ребристый ангар показал на мгновение нутро с серо-зелеными вертолетами. Серебристый, словно из конфетной фольги, старомодный, как памятник, стоял на бетоне «Дуглас». Лайнер гасил бег. Все подымались, разбирали вещи. И, выходя на трап, под яркое горячее солнце, Белосельцев навсегда забывал ночной перелет, случайную спутницу, черноусого никарагуанца, жадно и зорко озирал окружавшую его новизну.

Его встречали. Из советского посольства – худенький, беловолосый атташе по культуре, чья любезность носила протокольный характер и кому визит Белосельцева доставлял дополнительные ненужные хлопоты.

– Курбатов, – представился он, сжимая Белосельцеву руку.

Ему сопутствовал высокий, почти огромный никарагуанец, начинавший тучнеть, топорщивший в улыбке колючие черные усы. В его горбоносом, длинном, с круглыми скулами лице слились, но и продолжали существовать отдельно черты индейца и испанца. Одно лицо как бы вкатилось в другое, просвечивало одно сквозь другое.

– Сесар Кортес.

Белосельцев ощутил его могучее, мягко-осторожное рукопожатие. По-испански поблагодарил обоих за встречу.

– Вот и хорошо, – с облегчением, услышав испанскую фразу Белосельцева, произнес атташе. – Значит, проблема переводчика отпадает. А мы ломали голову, где вам найти переводчика. Посольство загружено, и нет ни одного свободного человека.

– Я не создам проблемы посольству, – улыбнулся Белосельцев, опуская на землю дорожный баул, тут же подхваченный большой, как черпак, ладонью Сесара.

– И еще один вопрос, сразу на месте. Товарищ Сесар – писатель, представитель Министерства культуры. Он приглашает вас жить к себе в дом. Или, может быть, у вас есть возражения и вам удобнее поселиться в отеле?

– Друзья, я предлагаю это решить за чашечкой кофе, – мягко приглашал их в здание аэропорта Сесар.

Атташе помог Белосельцеву заполнить бланк на паспортном контроле. Пили очень крепкий, горячий, немосковский кофе. Белосельцеву нравился Сесар, его могучее сложение, осторожные, плавные, деликатные руки с длинными пальцами, которыми он сжимал фарфоровую петельку на кофейной чашке. И почему-то подумалось, что Сесар должен хорошо танцевать.

– Мы поедем сейчас ко мне, – сказал Сесар, – вы отдохнете. А вечером вас приглашают на официальный прием, где будут Даниель Ортега, Эрнесто Кардинале, команданте северного и южного фронтов. Там вы получите свои первые впечатления о политике и войне.

Белосельцев подхватил дорожный баул, и все вместе они направились к выходу, в толчею, к стоянке машин, где кончалось здание порта и за прозрачной металлической сеткой открывалось взлетное поле. Там белела махина лайнера с надписью «Аэрофлот», остывала, отшлифованная небесными потоками, океанским ветром, блеском солнца и звезд. Сесар открыл багажник старенького красно-вишневого «Фиата», собираясь положить в него дорожную поклажу гостя.

Белосельцев зорко, радостно озирал утреннее желтоватое небо с легчайшей латунной пылью, отъезжавшие автомобили, возбужденных, с чемоданами и баулами, пассажиров. Он вдруг увидел близко свою спутницу – стояла, растерянно озираясь, видно, искала встречающих. У ее ног стояла картонная коробка с какими-то литерами, на руке висел легкий плащ, на плече, на тонком ремешке, качалась маленькая изящная сумочка. Белосельцев быстро оглядел ее всю – каблуки ее туфель, недлинную юбку, дрожащую от ветра, золотистые волосы – и тут же отвернулся от нее, как от ненужного, мимолетного, навсегда исчезающего. Погрузился взором в сияние латунного, цвета легкой чайной заварки неба.

Там, среди разгоравшегося небосвода, волнами прибывал свет. Небо волновалось, словно по нему бежал неслышный ветер. И среди этих бесшумных волн света глаза Белосельцева различали едва осязаемое уплотнение, не видели, а предчувствовали появление крохотной темной точки. И она появилась, малая, как спора, несущая в себе зародыш тревоги. Белосельцев терял ее, и тогда на ее месте возникало фиолетовое пятнышко – проекция перенапряженного зрачка. А потом вновь ее видел. Становясь крупнее и тверже, она приближалась, похожая на далекую, летящую над зелеными холмами птицу.

Она надвигалась, меняла очертания, выпадала из латунного неба, превращаясь в двухмоторный самолет с блестящими фонтанчиками пропеллеров. Самолет снижался, словно шел на посадку. Низко, с легким жужжанием, шел над ангарами, и под ним, у полукруглого рифленого ангара полыхнуло пламя, ударил круглый взрыв, и резкое трескучее трясение прокатилось над полем.

Из этого лопнувшего пузыря вырuling «Дуглас» с одним работающим мотором, с переломленным крылом, которым упирался в бетон, очерчивая окружность, как циркуль. Остановился, осел на обломанную плоскость, охваченный синим, как спирт, пламенем.

Двухмоторный самолет продолжал лететь, взмывая по высокой дуге, словно готовился совершить фигуру высшего пилотажа, демонстрируя зрителям красоту и умение в пустоте сияющих небес. И, подхватывая его начавшуюся дугу, догоняя мелкими искрами, ударили зенитки из капониров, окруженные мешками с землей. Задергали гибкими, качающимися стволами, окружили себя чавкающими, лязгающими звуками, короткими пламенеющими язычками.

Самолет ускользал от блестящих пунктиров, легких стеклянных царапин. Зацепился за одну из них, дернулся, отклоняясь от плавной красивой дуги, словно его пронзила невидимая спица. Продолжал полет, но уже по случайной неровной кривой, хвостом вперед, выбрасывая из себя комочки дыма и темной требухи. Зенитки его потеряли, лучисто стреляли в пустоту, а подбитый самолет приближался, крутился в воздухе красно-белым фюзеляжем, стеклянной кабиной, кудрявыми дымными выхлопами.

Все это длилось меньше минуты, и глаза Белосельцева, следившие за сложной геометрией полета, просчитали моментально равнодействующую самолетных моторов, зенитных попаданий и тяготения земли, угадали место падения. Этим местом было здание порта, на которое валился из неба подбитый самолет, врезался в кровлю острием крыла, превращаясь в металлический, брызнувший жижей и пламенем хриплый удар. Из пробитой крыши в воздух взлетел огненный лоскут и стал приближаться к Белосельцеву, валиться на него из неба. Лоскут падал на близко стоявшую женщину, на ее золотистые волосы, перекинутый плащ, колеблемую ветром юбку.

Белосельцев бессознательно кинулся к ней, обхватил за плечи, с силой нагнул, нависая над ней, грубо и сильно обнимая ее. Лоскут, то ли кровельный лист, то ли часть фюзеляжа, хлопнулся рядом, проскрежетал по земле, остался лежать, охваченный дымом.

– Боже мой! – сказала она, с ужасом глядя на дымящийся лоскут, горящее здание порта и на Белосельцева, отпуская ее на свободу. Но не о ней была его обостренная мысль. Сесар у открытого багажника и беловолосый аташе, ошеломленные, смотрели на него, собираясь спасти, увозить. А в нем, среди разлетающихся, как взрыв, впечатлений, возникла и держалась острая мысль. Он, разведчик, явился сюда под личиной военного журналиста, и в этом первом эпизоде войны должен подтвердить свою легенду, убедить этих растерянных, но продолжавших его изучать людей в подлинности его журналистской профессии.

– Сесар, минуту!.. – Он выхватил у Сесара свой дорожный баул, раскрыл, вытащил изнутри заряженную фотокамеру. Прижал зрачок к видеоискателю.

Словно лопнул сосуд в глазу, заливая мир слепящим и красным, а потом в просветленной оптике стали последовательно возникать стихающие, поражающие пустоту зенитки. Два вялых, уползающих шлейфа, оставленные взрывами бомб. Опрокинутый на крыло, охваченный синим огнем «Дуглас». Жирная копоть, летящая из проломленной кровли аэропорта, откуда несло нечеловеческое многоголосие страха. Он все это снимал, резко смещая ракурс, неутомимо щелкая. А потом молодым длинным скоком, протискиваясь сквозь турникеты, обогнул здание порта.

На бетоне, исчертив плиты копотью, дымились скомканные красно-белые обломки самолета. Смятый ударом, свитый в падении, потерявший киль и крылья, горел фюзеляж. Среди тлеющего пластмассового зловония, разорванный, размазанный, пропущенный сквозь зубья металла, лежал пилот, похожий на матерчатую истрепанную куклу. Без рук, с откинутой назад головой, с разорванной щекой, сквозь которую кроваво и сочно белели зубы, с выбитым, кисельно растекшимся глазом. На волосатой груди сквозь разорванную рубаху блестела золотая цепочка с крестиком.

Белосельцев, вступая в дым, видя под ногами горящие клейкие язычки, фотографировал, захватывая в кадр драные лохмотья, остатки номера на фюзеляже, безрукую куклу в кабине, цепочку с крестиком, приборную доску с расколотыми циферблатами.

Кто-то в военной форме сильно, резко ударил его под локоть, мешая съемке. Гневное молодое лицо, ствол автомата надвинулись на него:

– Гринго!.. Застрелю!..

И тут же, заслоня Белосельцева, возникла могучая фигура Сесара, отодвигая солдата:

– Это советский... Со мной...

Белосельцев, испытав на себе ненависть молодого солдата, продолжая демонстрировать журналистскую страсть, неумный репортерский азарт, продолжал снимать под разными ракурсами набегавшую цепь солдат. Присев, сквозь расставленные солдатские ноги – измызганную бортовину с цифрами «701». В проломе фюзеляжа, под содраным колпаком кабины – окровавленного одноглазого летчика.

Оттесненный солдатами, среди криков, команд, он шагнул в разбитое, высаженное взрывом окно аэропорта. И первое, что увидел, – своего соседа, с кем летел из Москвы в самолете.

Сквозь пальцы, закрывавшие лицо, сочилась кровь. Усы были слипшиеся, словно он напился киселя. Молодая женщина отирала ему лоб испачканным платком. Белосельцев вспомнил недавнее, близкое лицо с выпукло-блестящими счастливыми глазами, на котором сейчас взорвались огонь и металл. Снимал это изрезанное осколками стекла лицо, столкнувшееся с войной.

Он увлекся работой, отдаваясь страстному вторжению в зону риска. Ему хотелось попасть на взлетное поле, где горел «Дуглас», копошились пожарные, направляли на огонь слюдяную струйку воды. Но Сесар остановил его:

– Нам лучше уйти... Здесь беспокойно... Приехали люди из безопасности... Придется давать объяснения...

Они вернулись на стоянку машин, к красному «Фиату». Белосельцев, остывая от возбуждения, искал глазами женщину, которая стояла здесь несколько минут назад. Но ее не было. Видимо, ее встретили и увезли. Он устало повесил камеру на шею. Его разведывательная миссия началась. Бомбовый удар по аэропорту он использовал как операцию прикрытия.

Глава вторая

Они удалялись от разгромленного аэропорта, навстречу пожарным сиренам и крытым военным грузовикам. Мчались среди низкорослого города, напоминавшего сплошное предместье. Заросшие серо-зеленые пустыри. Яркие щиты указателей. Толкучка на перекрестках, где крикливые мальчишки с толстыми сумками совали в автомобильные стекла утренние газеты. И снова город растворялся, растекался среди зеленых, похожих на пустоши, зарослей. Белосельцев, возбужденный, неостывший, в потной рубашке, метался глазами среди зрелищ чужой столицы, готовясь к любой неожиданности, к повторению удара. Фотоаппарат лежал на коленях, готовый к действию. Он поглаживал камеру, чувствуя ее живое биение, наполненность – уникальные кадры огня и взрыва.

Сесар вел свой «Фиат», поглядывая в зеркальце на сопутствующий им автомобиль атташе.

– Вы настоящий репортер. – Сесар чуть повернул к Белосельцеву горбоносое коричневое лицо. – Я не успел ничего понять, а вы уже действовали. Настоящий профессионал, ничего не скажешь. Когда мне сообщили, что приедет маститый журналист, я, признаться, ожидал увидеть тучного старика с одышкой. Все прикидывал, как повезу на границу с Гондурасом этот мешок с костями. А вы оказались настоящим боевым репортером, Виктор.

Он улыбался мягко, застенчиво, топорща усы, извиняясь за «мешок с костями», за эту бомбардировку аэропорта, не совместимую с законами гостеприимства. Мягко и ненавязчиво демонстрировал симпатию. Белосельцев был рад произведенному впечатлению, маскировка его удалась, «легенда журналиста» с первых минут подтвердилась.

– Что это было, Сесар? Как все это понять? – Белосельцев сжимал фотокамеру, увозя в ней добычу подальше от огня и опасности. Хотелось побыстрее извлечь кассету, заклеить ее скотчем, упрятать в какой-нибудь бронированный сейф.

– «Контрас»! – жестко, с внезапной ненавистью, выговорил Сесар, отпечатав под рубашкой взбухшие шары мускулов. – Наемники и гвардейцы Сомосы. Они объявили о начале бомбардировок с воздуха. Это их второй воздушный налет на Манагуа.

– Откуда у них самолеты? Откуда взлетают? – Белосельцев вспомнил налетающую в небе звенящую точку, лязгающее пламя зениток, растерзанное тело пилота, уместившегося в видоискатель. – Откуда совершился налет?

– Из Сальвадора. Или из Гондураса. Или из Коста-Рики. Все это рядом. Американцы дают самолеты и бомбы. Гринго учат летчиков на Майами. «Баррикада» недавно писала, «контрас» начинают новый этап вторжения. Бомбардировки с воздуха. Мы только что видели, что это за новый этап.

Белосельцев жадно усваивал. Информация, которую, готовясь к поездке, он черпал из аналитических справок, агентурных донесений, газетных и журнальных статей, теперь облекалась в живую горячую плоть, которая толкала, угрожала ему. Ощущал ее нарастающий поминутно напор. Стремился откликнуться встречным пониманием и приятием. Обретал пластичную форму, в которую врывалось новое знание, словно снаряд в вязкую броню, оставляя огненный отпечаток.

Он чувствовал свой недавний ночной перелет как плавное движение в прозрачной легкой среде, среди мягких дремотных воронок, в которых невнятно и сладостно кружили его сонные мысли. Приземление в Манагуа было ударом об острую сверхплотную грань, о которую раскололось его недавнее прошлое. И возникла ослепительная пустота, куда устремились жаркие, небывалые впечатления. В этом ударе, расколовшем бетон полосы, алюминиевую обшивку машины, лопнул и распался окружавший его защитный панцирь. Осыпался, словно хитин, обнажая влажные, еще не расправленные крылья рождавшейся бабочки. Она еще не взлетела,

не наполнила свои узорные перепонки солнцем и ветром, но уже тянулась к огненным, обжигающим лучам.

Белосельцев мчался в ярком свете чужой столицы, ощущая происшедшую в себе перемену.

У перекрестка поравнялись с машиной атташе.

– Виктор Андреевич, я, с вашего позволения, вас покину. Вечером Сесар привезет вас на правительственный прием. Там я представлю вас советнику-посланнику. А вечером отвезу обратно на виллу.

Мягко вывернул и исчез в мерцании перекрестка.

Они миновали церковь, островерхую, с белыми уступами и резными вавилонами, солнечную среди тенистой зелени.

– «Санто-Доминго», – сказал Сесар, кивая на храм. Проехали по тихим, прямым улицам с аккуратными виллами. – Пригород. Скоро приедем. Дальше поля и горы.

Подкатили к последнему, на зеленой окраине дому – стеклянные стены, бетонная дорожка через газон, две высокие, шевелящие перьями пальмы, ярко-желтая машина-фургончик, уткнувшаяся в цветущий куст. Белосельцев осматривал широкую сине-зеленую панораму предгорий, кружевные вершины деревьев, пышные, похожие на вздыбленные волны прибой фиолетовые облака, из которых косо и вяло выпадали дожди. Все было незнакомо, иных очертаний, расцветок, с иным горизонтом и небом, под которым стояла красивая, со следами запустения вилла, куда привез его Сесар.

Из стеклянных дверей вышла молодая хрупкая женщина, ослепительно улыбаясь, протягивая худую загорелую руку с серебряным браслетом.

– Росалия!.. – представилась она. – Добро пожаловать!..

Белосельцев осторожно пожимал ее тонкие, шевелящиеся в рукопожатии пальцы, радуясь ее улыбке, черно-блестящим, стеклянным волосам.

– Моя жена... – знакомил их Сесар. – Наш гость Виктор...

В могучей, громадной фигуре хозяина Белосельцев уловил робкую неуверенность, нежность, зависимость от этой хрупкой прелестной женщины и нечто еще, неясное и грустное, промелькнувшее между ними.

– Боюсь вас стеснить. – Белосельцев пробовал извиняться, входя в просторный, продуваемый душистым ветром холл. – Быть может, все-таки лучше в отель?

– Мы вам очень рады, Виктор. – Осторожно, как бы обнимая, Сесар положил ему на плечо свою большую руку. – Завтра утром Росалия уедет, и этот дом опустеет. Но, быть может, и мы с вами тоже завтра уедем. И здесь все замрет.

Что-то шепнул жене. Та изменилась в лице, темнея глазами, пугливо поводя плечами.

– Опять бомбили?.. Здесь не было слышно взрывов... Велики разрушения?..

– Они бомбят, чтобы посеять страх. Чтобы люди боялись. Но это им не удастся. Виктор не испугался, и я восхищаюсь его мужеством. «Контрас» сделали все, чтобы он с первой минуты включился в работу... Дорогой Виктор, вас утомил перелет, утомили переживания. Я провожу вас в вашу комнату, отдыхайте. Через два часа мы позовем вас обедать. – Любезный хозяин тяжеловесно-грациозным жестом пригласил Белосельцева. Повел в отведенную комнату, где стояла кровать и сквозь жалюзи проливались ароматные дуновения близкого горячего сада. – Отдыхайте, Виктор...

Белосельцев присел на кровать, застеленную цветным покрывалом. Слушал тихие, мерцающие звуки стрекочущих в саду насекомых. Улавливал новые веющие запахи – приторно-сладковатых цветов, маслянистых духовитых трав, влажного теплого тления и еще чего-то, связанного с ветшающим жилищем, где, казалось, истлевает прежний уклад и витают при-

зраки неведомых, покинувших дом хозяев. Не шевелился, стараясь осознать происходящие в нем перемены.

Рубаха, которую он вчера надевал в своей московской квартире у тускло-дождливого окна с видом на памятник Пушкину, и галстук были испачканы копотью, дунувшей из подбитого самолета. Зарево Майами, мимо которого он пролетал в бархате атлантической ночи, породило в дремлющей памяти воспоминание о Хемингуэе, о диксилендах, о Глене Миллере, а потом из этого латунного, как орудийная гильза, неба выскользнул самолет с грузом бомб, стучали зенитки, вопила посеченная стеклами женщина, и это было послание из Майами. Ненавидящий, угольно-фиолетовый взгляд солдата, того же цвета, что и вороненый ствол автомата, выплунутое слово «гринго», трясущиеся стволы зениток были ответом на это послание. Черноусый никарагуанец, развлекавший его в самолете, летел на родину по долгой, вокруг земного шара, дуге, от сумрачно-мерцавшего «Шереметьева» и, коснувшись родной земли, напоролся на взрыв, ослепивший его. Взрыв был послан ему из Майами. Здесь, в Никарагуа, ему, разведчику, предстояло понять вероятность вторжения. Почувствовать, как на пламенеющий, экзотический цветок революции надвигается тяжкий угрюмый каток, готовый закатать в асфальт огненные лепестки, расплющить железными тоннами хрупкий солнечный стебель.

Фотокамера, которая еще недавно улавливала в объектив пейзажи старой Москвы, лица друзей, подмосковную природу, где он затевал эстетическую фотосерию – замороженные в лед осенние листья, мертвые бабочки, пузырьки застывшего воздуха, запаянное в кристаллы льда минувшее лето, – фотокамера казалась испуганной, потрясенной, несла в себе образы недавнего боя. И он сам, потрясенный, сидел на цветном покрывале в неизвестном доме на другой половине земли, готовый к дальнейшим потрясениям.

Так бутылка с горючей смесью, с вязкой липкой начинкой, запечатанная сургучом, касается брони транспортера, превращается в прозрачное полыхание вспышки. Таким был прилет в Манагуа.

Что-то шумное, трескучее пролетело мимо его лица, стукнулось о стену, упало. Белосельцев испуганно отшатнулся. По полу вдоль стены, убирая под панцирь крылья, шевеля усами, бежал огромный, глазированный-черный таракан. Видно, влетел сквозь жалюзи в комнату. Белосельцев усмехнулся своему испугу: «Кукарача, не более того. Ведь я в Латинской Америке». Вид миролюбивой твари успокоил его. Он вытянулся на шерстяных цветах покрывала и мгновенно уснул.

Обеденный стол был покрыт белоснежной скатертью и стоял у распахнутых настежь дверей. Снаружи волновалась зеленая горячая даль. Мелькали похожие на капли слюдяные прозрачные существа, желтые, волновавшие Белосельцева бабочки. Хотелось достать сачок, вычерпать из благоухающего сочного ветра золотистую бабочку Американского континента. Росалия в белом платье, с девичьей хрупкой шеей разливала суп, накладывала на тарелки вареную фасоль, мясо. Было видно, с каким удовольствием она угощает, как гордится убранством стола.

– Оказывается, был и второй самолет, – говорил Сесар, откупоривая бутылку с красочной наклейкой «Флор де Канья». – Две бомбы упали на город недалеко от Министерства обороны. Жертв нет. Самолету удалось ускользнуть.

– Виктор, вам придется еще не раз во время путешествия отведать никарагуанскую фасоль, – сказала Росалия. – Я сделала все, чтобы это блюдо вам сразу понравилось.

– Изумительно! – не лукавил, расхваливая угощение, Белосельцев. – Особый, ни с чем не сравнимый вкус!

– Дорогой Виктор. – Сесар церемонно, делая особый, «испанский», как подумалось Белосельцеву, жест, поднял рюмку. – Мы знакомы не более трех часов. Из них первые тридцать минут вы носились среди горящих обломков, рискуя подорваться на боекомплекте. Ни Совет-

ский Союз, ни руководство сандинистского Фронта мне бы этого не простили. – Он чуть усмехнулся, и Росалия повторила улыбку мужа, и от Белосельцева не утаилось это зеркальное повторение улыбки. – Тем не менее, Виктор, эти первые минуты позволили мне понять, что ваша страна не ошиблась, прислав в Никарагуа именно вас. Вы, я убежден, выполните свою работу, и наша революция предстанет перед советскими людьми и перед всем миром в самых существенных чертах. Со своей стороны, Виктор, мы сделаем все, чтобы вам хорошо работалось, чтобы вы как можно больше увидели, чтобы поняли цели и смысл нашей революции.

Эти последние слова он произнес серьезно, с чуть заметной аффектацией, и Белосельцев опять заметил, как выражение его мужественного, испано-индейского лица перелилось в женское, прелестное лицо Росалии. Они все время повторяли друг друга, возникали один в другом.

Ром был крепкий, вкусный, взбудрил после сна.

– У вас прекрасный дом, красивый сад. – Белосельцев оглядывал стены с керамическими блюдами, книжную полку с дорогими, тисненными золотом фолиантами, солнечный проем дверей с мелькающими бабочками. – Вы прекрасная хозяйка. – Он поклонился Росалии.

– Не совсем так, дорогой Виктор, – улыбнулся Сесар. – Дом принадлежал юристу из сомосовского Министерства юстиции. Хозяин убежал в Гондурас, а дом на время передали нам. Чтобы я мог писать мои книги. Но мне для работы не нужно много места. Вон мой стол. – Белосельцев проследил его взгляд и увидел в дальнем углу небольшой, заваленный бумагами стол и прислоненную к столу винтовку. Обойма с медными остриями пуль прижимала стопку бумаг, чуть шевелящихся от ветра. – Вот мой рабочий стол, где я пишу не романы, а листовки и политические статьи в газету. А Росалия работает далеко от Манагуа, по ту сторону Кордильер, на Атлантическом побережье. Она медик. Сандинистский Фронт послал ее к индейцам «мискитос». Она делает детям прививки. Приехала на несколько дней в Манагуа за порцией вакцины и завтра утром – вы видели ее «Тойоту» – снова уезжает надолго. Так что дом и сад без хозяев приходят в запустение. Вы своим появлением оживили одну из комнат, и мы вам благодарны за это.

Росалия улыбкой присоединилась к благодарности мужа.

Белосельцев рассматривал издали рабочий стол Сесара. Какие-то брошюры, на которых стоял подсвечник с обгорелой свечой – знак того, что электричество иногда отключали. Шевелящиеся под винтовочной обоймой исписанные листочки. Ствол «М-16», касавшийся старенькой пишущей машинки. Так, наверное, должен выглядеть стол писателя, пишущего в революционной стране. Так выглядел стол Фадеева, Шолохова, Фурманова в какой-нибудь казарме, или в вагонной теплушке, или сельской избе. Вспомнил, как недавно в Москве был в доме знаменитого, чопорного писателя, его огромный ореховый стол с хрустальными чернильницами, уставленный бесчисленными дорогими безделушками, привезенными из разных стран «амулетами», как он их называл, «фетишами» его путешествий, помогавшими ему вспоминать дворцы и бульвары Парижа, галереи и музеи Италии, пирамиды и сфинксов Египта. Сейчас он смотрел на рукописи революционного писателя в соседстве со скорострельной винтовкой.

– Я слышал, там, на «Атлантик кост», не совсем спокойно. – Белосельцев осторожно, как бы на ощупь, чтобы не спугнуть неуместным любопытством малознакомых людей, сделал свой первый вопрос разведчика, добывая крохотную, исчезающе-малую частичку информации. – Я читал в прессе, что среди «мискитос» были волнения.

– Сейчас везде неспокойно, – ответила Росалия, не сразу и слишком скупно, как показалось Белосельцеву, – контраст по-прежнему мутят индейцев.

По ее молодому, очень яркому лицу пронеслась стремительная мимолетная тень, как от невидимой, заслонившей солнечное окно птицы. Белосельцев, переводя взгляд на Сесара, успел захватить ту же исчезающую мелькнувшую тень.

– Этой весной банда «мискитос» напала на медицинский пункт, где работала Росалия. Ее захватили в плен. Хотели увезти в Гондурас. Армия устроила погоню и освободила Росалию. Ее подругу ранило. Там и сейчас неспокойно.

– И вы туда снова едете? У вас есть конвой? – вырвалось невольно у Белосельцева.

– Еду одна, – ответила Росалия.

– Она едет без конвоя, одна, – сказал Сесар, – берет ящик вакцины, пистолет и гранаты и едет к «мискитос». Таково решение Фронта. Мы проводим реформу здравоохранения, программу детской вакцинации. Она выполняет указания Фронта.

Белосельцев добыл информацию. Улыбающаяся прелестная женщина, молодая жена, покидает супружеский кров и одна, с грузом медикаментов, положив на сиденье гранаты, катит в машине через Кордильеры, от одного океана к другому, ожидая засаду, ожидая пулю и плен. Ее муж, писатель, отпускает ее, садится за стол и вместо романа пишет боевую листовку, и обойма с меднозубой улыбкой скалит на него наконечники пуль.

Они завершили обед.

– До вечера, до начала правительственного приема, еще остается время, – сказал Сесар. – Мы можем покататься по городу, а потом я вас отвезу в резиденцию.

Они ехали по шумной гремящей трассе, мимо лавок, магазинов, пакгаузов. Белесые стены без окон, железные ворота, дым, гарь, обшарпанные, многократно побитые автомобили, залатанные витрины без блеска, без товаров, открытые лотки с какой-то рухлядью, запчастями, несвежими пакетами, ворохами ношеной одежды. Страна переживала блокаду, беднела, воевала, продолжала бурлить смуглой разгоряченной толпой, брызгать оглушительной солнечной музыкой.

– Восточный район, – пояснял Сесар, кивая на остатки строений, пыльные обвислые пальмы, серые горячие стены в аляповатых революционных воззваниях, за которыми блестело мутно-зеленое озеро с вмятинами ветра. – Здесь во время восстания мы сосредоточили главные силы. Сомоса послал на нас самолеты. Бомбил нас, бомбил столицу. Мы были вынуждены отойти из Манагуа. Здесь погиб мой друг Рафаэль Меркадо, вот в этом доме. – Он кивнул на мертвый бетонный короб с зазубринами стен, расшатанных взрывами.

Белосельцев рассматривал пролетающую руину с размашистым красным лозунгом «Контрас не пройдут!» и черную аппликацию Че Гевары в берете. Представил пикирующие самолеты, отбивавшихся из винтовок повстанцев и Сесара, не этого, за рулем, величественно-благодушного, в кружевной рубахе, а измученного, потного, оглушенного взрывом, извлекающего из бетонной пыли убитого друга. Подумал, что этот большой, почти неизвестный ему человек был подобен контурной карте, которую он, Белосельцев, станет постепенно раскрашивать. Промелькнувший разрушенный дом с красной надписью и черным революционным беретом был малым кусочком контурной карты, заполненный ярким мазком.

– Заметили, Виктор, какие у нас мостовые? – Сесар кивнул на ветровое стекло, за которым убегала чешуйчатая, выложенная из бетонных шестиугольников трасса. – Эти плиты делались на заводах Сомосы. Он приказал покрывать дороги в Манагуа только такими плитами. Это приносило ему огромные прибыли. Но и мы не остались в убытке. Очень хорошо для баррикад. Ломом поддел, разобрал мостовую и на тебе, строй баррикаду. В этом районе половина мостовых пошла на баррикады.

И снова малый мазок, покрывающий бесцветную карту, – Сесар, напрягая мускулы, выламывает из-под ног шестиугольные бруски, выкладывает стенку с бойницей, просовывает белесый, исцарапанный ствол винтовки, и, повизгивая, рикошета, выкалывая колючую пыль, ударяют пули гвардейцев.

Они побывали в квартале бедняков Акавалинке, пробираясь на машине в узких зловонных переулках с ручьями нечистот, вытекавших из жалких лачуг. Из дверей выглядывали

угрюмо-вздохмаченные старики, похожие на лесных зверей, и чумазые голопузые дети, грязные, неухоженные, с испуганными, блестящими, как у лемуров, глазами. В одной из хибар, куда они заглянули, был стол, мокрый, раскисший, покрытый ленивыми мухами. Костлявая, с красными глазами женщина клеила бумажные пакеты. В гамаке спал ребенок, черный, пепельный, как испеченный картофельный клубень, выкатившийся из золы. Обломки ящиков, мешковина тюков, металлическая крыша хижины – все это было построено из трухи, оставшейся от другой, использованной прежде жизни.

Но уже ходил по окраине бульдозер, ломал брошенные лачуги. Молодой строитель в джинсах расставлял треногу теодолита.

Они побывали в новом районе Батаола, построенном сандинистами для жителей снесенных трущоб. Каменные, блочные коттеджи с водой, электричеством, с прямыми улицами, где зеленели молодые деревья, стояли одинаковые фонарные столбы. Проходившие мимо люди не напоминали недавних бедняков и изгоев. Тут же, на открытой площадке, мужчины и женщины учились ходить строем, брали «на караул», неумело поднимали винтовки. Военный, щеголеватый, подтянутый, уверенно и бодро командовал.

– Милисианос, – пояснял Сесар. – Мы раздали народу оружие. Если американские командос высадутся в Манагуа, мы будем вести уличные бои, каждый дом станет крепостью. Эти люди сбросили Сомосу, получили от революции дом, работу, винтовку. Эти люди умрут за сандинизм, но не пустят гринго на свои пороги.

Белосельцев кивал, понимая усилия сандинистов – поднять из руин, воссоздать и построить эту постоянно разрушаемую страну, которую бьют беды, терзают стихии, сокрушают нашествия, разоряют лихоимцы и диктаторы. За этим когда-то ушел в Кордильеры Сандино в широкополой шляпе, уводя с собой горстку повстанцев. Вели изнурительный, на долгие десятилетия бой, подымая народ в революцию, теряя товарищей, кого в ущельях, кого в засадах, кого в застенках. Пока не загудели горы, города и дороги и колонны бойцов, мимо дымящихся вулканов, сквозь шрапнель и снаряды, входили в Манагуа. Об этом думал Белосельцев, глядя на мокрых от пота милисианос, шагающих невпопад мимо нарисованной на стене широкополой шляпы Сандино.

Они достигли центра, оставили машину под огромными тенистыми деревьями, гуляли по площадям и зеленым скверам.

Рассматривали каменную беседку с барельефами, на которых изображалась история Никарагуа. Прибытие испанских конкистадоров и крещение индейцев, чьи каменные лица ожили и сплавились в горбоносом, продолговатом лике Сесара. Война с англичанами, женщина в кринолине направляет народ в сражение, и она неуловимо напоминала Росалию, словно та служила моделью для скульптора. Высадка американского экспедиционного корпуса, и мальчишка, кидающий камень в вооруженных солдат, похож на пробегающего крикливого продавца газет, выкликающего последние новости. Белосельцев рассматривал каменные фигуры, а кругом голосила, мелькала зеленой солдатской формой, пузырилась сандинистскими транспарантами живая история, которой вскоре суждено успокоиться, окаменеть, стать барельефом в еще не существующем монументе.

– Дворец наций. – Они подходили к помпезному, серо-стальному с розоватыми колоннами зданию, похожему на Музей изобразительных искусств в Москве. – Здесь мы захватили несколько сотен заложников, сомосовских министров, депутатов парламента. В масках, с автоматами ворвались во дворец во время заседания. Потребовали, чтобы Сомоса выпустил из тюрьмы двенадцать наших товарищей, приговоренных к смертной казни. «Двенадцать апостолов» – так мы их называли. Сомоса принял наши условия. Мы вылетели на самолете в Панаму, а через неделю я снова был в Никарагуа, сражался в горах с Сомосой.

Сесар был величав, благороден, чуть барственен, но под этим обличьем гостеприимного хозяина таилась натура бойца, партизана, террориста, проницательного наблюдателя и развед-

чика. Недаром его приставили к Белосельцеву сопровождать в деликатной поездке, где Сесару надлежало не только опекать, но и ненавязчиво, незаметно наблюдать, дозируя впечатления гостя. И он наблюдал и дозировал. Белосельцев был для него такой же контурной картой, которую тот тщательно, неторопливо закрашивал. Задача Белосельцева с его «легендой журналиста», позволявшей ездить и видеть, состояла в том, чтобы контуры рек и хребтов, очертания озер и морей, кружочки безымянных городов и селений были слегка смещены. Не совпадали с реальностью. Чтобы карта, которую раскрасят, была пригодна для туристического путешествия, но не для ведения боевых действий.

– Наш кафедральный собор. Разрушен землетрясением. В сущности, в таком виде мы получили от Сомосы всю страну.

Собор, некогда величественный, барочный, двуглавый, с каменными резьбами, позолотой, католическими витражами, был рассыпан землетрясением. Ветшал, разрушался, казался руиной. Крест опрокинулся внутрь и косо свисал на золоченых цепях. Часы с белым циферблатом и волнообразными стрелками остановились в момент толчка и показывали половину пятого. Свод рухнул, и зияло просторное небо с росчерками свистящих ласточек. В мраморной купели зеленела прокисшая жижа с множеством вертких личинок. По блеклой, размытой ливнями фреске «Въезд в Иерусалим» бежала пугливая ящерица. Каменный пол был усеян осколками лопнувших витражей, разноцветными крошками опавшей мозаики. Белосельцев смотрел сквозь проемы окна на далекие горы, похожие на ленивых верблюдов, накрытых пятнистыми зелено-коричневыми попонами.

Он увидел, как затуманилась, расплылась, словно выпала из фокуса кромка горизонта. Плиты пола качнулись, и ему показалось, что он теряет сознание, находясь на грани обморока, когда разум колеблется между явью и беспомощностью. Пол покачался и замер. Сверху, из опавшего купола, по стенам, из трещин, из просевших перекрытий потекли ручейки песка, показались шуршащие камушки, посыпались крупички мозаики, и к ногам его упали разноцветные стекляшки витража.

– Не волнуйтесь, – улыбался Сесар, – это слабое землетрясение. Такие бывают почти каждый день. Никарагуа – молодая страна, ворочается с боку на бок, видит любовные сны.

А Белосельцев вдруг остро, неожиданно вспомнил молодую прелестную женщину, с кем летел в самолете, чьи руки случайно коснулся в ночном полусне, чьи горячие плечи охватил на взлетном поле, под падающим с неба огнем. Она пропала из его жизни, по-видимому, навсегда и бесследно. Но сейчас их соединил на мгновение прокатившийся по земной коре слабый толчок. Быть может, и в ее глазах, выпадая из фокуса, качнулся голубой горизонт, упала со стола какая-то безделушка, колыхнулся душистый чай в чашке с красным цветком.

– До приема у нас больше часа. Покажу вам вулкан Масая. Как знать, найдется ли у вас еще время его посмотреть.

Они выехали за город и очень скоро уже петляли по асфальтовому серпантину, к вершине зеленого, поросшего лесом вулкана, чья коническая, с лункой, вершина была увенчана клубами серого дыма. Они оставили автомобиль в том месте, где кончалась зелень, изъеденная и сожженная сернистым ядовитым дымом, и начинался голый пепельный склон, посыпанный мертвенным шлаком. К вершине вели вырубленные ступеньки и кривой металлический поручень, ржавеющий и источенный кислотными дождями вулкана. Вершина, куда они с трудом поднялись, была безжизненно-голой, каменная дымящая ноздря с застывшей красноватой коростой. Из кратера с навороченной, уродливо запекшейся лавой дуло густым ржавым смрадом, душным ветром преисподней. Белосельцев, заглянув в туманную, с пластами тягучего дыма бездну, отшатнулся, чувствуя жжение в легких, задыхался и слеп, отворачиваясь от горячего газа. Так пахла железная сердцевина земли. Благоухал раскаленный первозданный цветок планеты. Дымила плавильная печь, из которой истекли металлы и руды, алмазные и сапфир-

ные жилы покрылись тучной землей, пышными лесами и голубыми лагунами, ожили зверьми и птицами, и, сотворенный из глины, обожженный все в той же гончарной печи, встал человек.

Гранитное варево с отвердевшими водоворотами красноватой, как сукровица, лавы волновало Белосельцева. Ему казалось, он видит свернувшуюся кровь планеты. Причастен к угрюмой металлургии мира. Под ногами не было ни единой травинки, только серая окалина и чешуйчатый пепел. Но в этом чаду, в мутном плывущем дыме носились и громко кричали изумрудные хвостатые попугаи. Взмывали высоко в небо, едва заметные в сером тумане. Остановившись на миг, напрягаясь длинными хвостами и пульсируя крыльями, а потом переворачивались и вниз головой резко кидались в кратер, в самый дым, в металлическое зловоние, пропадая в клубах и истошно крича. Уходили по спирали вглубь, мелькая яркими зелеными брызгами. Стены кратера гулко отражали их вопли, которые постепенно замирали, словно попугаи углублялись к земному ядру. Но через минуту птицы вновь выносились из дыма, взмывали в свет, в чистый от дыма воздух.

Белосельцев не мог понять, зачем попугаи падают в кратер. Что их влечет туда, где нет жизни – ни семени, ни мотылька, а только кислотный дым, в котором варится земная броня.

– Сюда Сомоса привозил пленных сандинистов, прошедших застенки. – Сесар указал на кратер черными, слезящимися от дыма глазами. – Живыми их кидали в вулкан. Так был казнен еще один мой друг, Альфонсо Серере. Здесь, в вулкане Масая.

Изумрудный попугай пролетел совсем близко, с длинным волнообразным хвостом, выбрирующими крыльями. Глянул на Белосельцева маленьким черным глазком умершего Альфонсо Серере, нырнул в кратер. Несся на дно, разворачиваясь в плавной дуге, уменьшаясь, скрываясь в дыму. Белосельцев, следя за ним, вдруг испытал тоскливый ужас, словно оттуда, из дыры, веяла безликая непомерная воля, и его хрупкая жизнь направлялась этой волей к какой-то грозной, необозначенной и ему недоступной цели. Людские рождения и смерти, чаяния добра и любви, приносимые жертвы безразличны для этой воли, чья неколебимая мощь, излетая из кратера, минует человеческие переживания и чувства, устремлена в открытый, безжизненный Космос.

Он увидел, как внизу, от подножия, подымается по ступенькам вереница людей, медленно, останавливаясь. Занавешивается клоками дыма, опять появляется, вытягиваясь вдоль поручня, хватаясь за его железную ржавую жилу. Там было несколько женщин, пожилых и молодых, в длинных темных платьях и траурных черных платках. Были мужчины в черных сюртуках, в надвинутых шляпах и кепках, поддерживали женщин. Были дети – подростки, малолетки и один грудной, закутанный в пеленки, на руках у молодой матери. Там же, среди темных одеяний колыхался веночек из красных и белых цветов. Вереница одолела склон, вышла к вершине. Белосельцев мог разглядеть задыхающуюся, стареющую женщину с запавшими щеками и синеватой сединой под кружевным платком. Смуглую молодую красавицу с бурно дышащей грудью, к которой она прижимала младенца. Крепких молчаливых мужчин, их одинаково белые рубахи и темные галстуки, на которые, казалось, оседает железистая пыльца вулкана.

Отдышавшись, они осторожно приблизились к кратеру, попридерживая детей и подростков. Двое подняли над поручнем веночек, в котором влажно пламенели розы и сияли бело-снежные лилии. Подержали на весу и кинули в кратер. Веночек полетел, уменьшаясь, кружа, пропадая в мутной клубящейся глубине. И тут же закричала, запричитала пожилая женщина, раздирая сухими заостренными пальцами коричневую кожу щек, вырывая седые, выпавшие из-под платка волосы:

– Родриго, мой Родриго!.. Посмотри на меня, мой любимый!.. Я стала совсем старуха!.. Какие у тебя взрослые дети!.. Какие красивые внуки!.. Сколько мне еще жить без тебя!.. Хочу к тебе, мой любимый!.. Обними меня, мой прекрасный!.. – Женщина подвинулась к краю, нависая над перилами, устремляясь в туманную пропасть. Ее удерживали, хватали за плечи. Она

вырывалась, рыдала. Крепкий сутулый мужчина достал из кармана бутылку пепси, открыл, и женщина, захлебываясь, пила, успокаивалась. Они стояли, окутанные дымом. Закричал грудной ребенок. Молодая мать достала свою млечную налитую грудь, сунула фиолетово-розовый сосок в крохотные сочные губы проснувшегося младенца. Попугаи с истошными криками носились над ними, и один, изумрудный, трепещущий, быть может, птица-оборотень, остановился в воздухе над плачущей вдовой.

Правительственный прием, куда привез его Сесар, проходил в резиденции свергнутого диктатора Сомосы, на просторной вилле, выдержанной в готическом стиле, с резными колоннами, стрельчатыми арками, многоцветными витражами. Сесар оставил его перед входом с суровыми автоматчиками, передав на попечение атташе по культуре:

– Дорогой Виктор, наш друг Курбатов привезет вас после приема домой. Нас с Росалией не будет, ключ лежит у порога под плоским камнем. – И уехал, отпуская Белосельцева в глубину смугло-коричневого пространства с хрустальными люстрами, стеклянными розетками и лепестками драгоценных витражей, с золочеными гербами старинных испанских родов.

Было многолюдно, чинно. Гости перемещались по вилле, ненадолго задерживаясь один подле другого, чтобы обменяться рукопожатием, новостью, освежить знакомство, получить намек на предстоящие политические перемены, тонко и незаметно запустить слух, ударить по невидимой струне отношений, вслушиваясь в едва различимый ответный звук. Чиновники министерств, военные, послы, советники, функционеры Сандинистского Фронта – кто в легком элегантном костюме, кто в камуфляже, кто в вольном, непротокольном облачении. Клади на тарелки ломти баранины, розовое мясо лобстеров, душистые, отекающие соком фрукты. Наливали в хрустальные рюмки крепкий ром. Сквозь резные двери, напоминавшие алтарные ворота, выходили в сад, где туманно горели светильники, окруженные цветочной пылью, мелькающей прозрачной слюдой бесшумных легкокрылых тварей.

Белосельцев, представленный атташе, беседовал с советником-посланником советского посольства, держа на весу рюмку, глядя, как собеседник отхлебывает ром большими растресканными губами, и на его лысеющем незагорелом лбу лежат морщины усталости и тайного нездоровья.

– Ваш приезд был весьма желателен, – говорил дипломат, и Белосельцев старался угадать, известна ли тому истинная цель его миссии. – Мы поставили в известность никарагуанское руководство. Я сообщил о вашем приезде координатору Руководящего совета Даниэлю Ортеге. Программа вашей работы создавалась по его личному указанию. Здесь очень заинтересованы в поддержке СССР, политической, экономической и, конечно, военной. Вам будет предоставлена широкая возможность перемещаться и видеть. Будет открыт доступ к информации...

Белосельцев благодарил. Испытал знакомое, многократно пережитое состояние. Он – не вольный художник, не любопытствующий путешественник, не одинокий странник – исполнитель своих желаний и прихотей, творимых себе в угоду. Усилиями и волей многих людей он вводится в коллективное действие. Связывает себя с этим действием. Разделяет его цели и смысл. Рискует ради него жизнью. Безропотно, как военный, принесет себя в жертву, если будет на то приказ. Еще находился в Москве, дремлющий, летел над Европой, снижался над изумрудной карибской лагуной, а его уже вводили в процесс, распоряжались им и использовали. И это чувство, связанное с утратой суверенности, не пугало и не угнетало его, но мобилизовало, обострило внимание, усилило чувство готовности.

Их разговор прервал подошедший тощий человек с костлявым лицом, на котором распушились седоватые ухоженные старомодные усы. Поклонился посланнику. Улыбнулся, словно осканился, Белосельцеву:

– Приятный вечер, не правда ли? Надеюсь, вечером эти проклятые «контрас» не летают? – Он поднял вверх отточенный, как веретено, коричневый палец.

– Я слышал, у сбитого летчика нашли паспорт гражданина Коста-Рики, – заметил посланник.

– Увы, увы, наемники не имеют гражданства. – Человек поклонился, повернулся спиной и отошел. Его усы выступали и топорщились по обе стороны узкой седоватой головы.

– Временный поверенный Коста-Рики. Между ними и Никарагуа еще сохраняется видимость дипотношений, – сказал посланник. – Да, так я продолжаю... Видите ли, если говорить об обстановке в стране, то она усложняется. В сущности, вторжение уже началось, и сразу с двух направлений – из Гондураса и Коста-Рики. Присутствие американского флота у побережий почти равносильно блокаде. Маневры сухопутных американских войск в Гондурасе на фоне проникновения крупных групп «контрас» равносильны военной поддержке. Террор и саботаж в экономике грозят хаосом, парализуют революционные преобразования, усиливают внутреннюю оппозицию. В целом, на наш взгляд, план контрреволюции просматривается в следующих чертах...

Он не закончил, ибо к ним приблизился плотный загорелый человек в форме генерала кубинской армии.

– Сегодня бомба взорвалась в ста пятидесяти метрах от нашего посольства, – сказал генерал, пожимая руку посланнику и Белосельцеву. – Завтра они будут бомбить советское посольство. Может, это станет наконец весомым аргументом для переброски с Кубы полка ПВО? Мы сможем не только отражать атаки с воздуха, но и нанести воздушный удар по аэродромам террористов в Гондурасе.

– Боюсь, они только и ждут, чтобы вы перебросили «МиГи» с Кубы. Это даст им повод говорить о повторении Карибского кризиса и приблизить 4-й флот с морскими пехотинцами вплотную к побережью Никарагуа.

– Опыт первого Карибского кризиса говорит, что гринго не начнут войны и отступят. Это единственный способ ослабить давление и избежать прямого вторжения. – Генерал твердо и недовольно смотрел на утомленное, с болезненными морщинами лицо посланника, который, на его взгляд, был слишком осторожен и вял, чтобы понять стратегию борьбы на континенте, где Куба настойчиво, успешно и яростно впрыскивала в жилы одряхлевших режимов огненную энергию своей революции. – «Острие на острие», – как говорят наши китайские товарищи, у которых, на мой взгляд, все-таки есть чему поучиться.

Он любезно раскланялся и отошел, недовольный, с чувством превосходства и правоты. Посланник смотрел ему вслед спокойным, чуть опечаленным взглядом, каким умудренные отцы смотрят на своих дерзких, ненарезвившихся детей.

– Это главный кубинский военный советник. В Анголе он приобрел боевой опыт и механически переносит его сюда. Никарагуанцы охотно внимают его советам, и нам стоит большого труда удерживать их от непродуманных действий... Итак, я говорил о стратегии контрреволюции. – Дипломат не терял нить разговора. – Прорыв банд сквозь границу в труднодоступные горные районы, такие как Матагальпа, атаки на административные центры, такие как Пуэрто-Кабесас, на удаленном Атлантическом побережье должны обеспечить «контрас» плацдарм, с которого они бы могли объявить о создании антисандинистского правительства. Такое правительство уже сформировано в Гондурасе. Как только оно заявит о своем существовании на «освобожденных территориях», его немедленно признают враги Никарагуа – реакционные режимы Чили, Уругвая, Сальвадора и Гондураса. И, конечно, Соединенные Штаты. Экспедиционный корпус вторгнется в страну для поддержки этого «признанного» правительства, и, таким образом, конфликт приобретет международный характер...

Белосельцев знал много больше того, чем любезно делился с ним дипломат, полагая, что напутствует журналиста, а не разведчика. Его наивные вопросы посланнику служили формой маскировки. Из ответов он черпал не военно-политическую информацию, а лишь убежденность в том, что его «легенда» не раскрыта, работает среди высших посольских чиновников. И

только резидент, с которым он еще не был знаком, посвященный в его «легенду», должен был отыскать его среди многолюдья приглашенных на раут гостей.

Белосельцев благодарно внимал, превращая предлагаемый ему политический и военный анализ в образ отточенного резца, направленного на сине-зеленые, красно-коричневые земли, над которыми он пролетал. Резец вспарывал курчавый живой покров страны, и под ним открывались сочные, бело-розовые, страдающие переломы. Под этим резцом, под разящими касаниями будет пролегать его путь разведчика.

– В сущности, – продолжал советник-посланник, – Карибский бассейн является взрывоопасным районом, увы, не единственным на земле, откуда может начаться цепная реакция глобальной ядерной катастрофы...

Белосельцев понимал, что ему предстоит увидеть нечто жестокое, заложенное в инженерию мира. Тот винт, ту заклепку, разъедаемую и растачиваемую, с которой мир, сотрясенный, вовлекая в крушение континенты, готов сорваться, свернуться в спекшийся кровельный лист с остывающими малиновыми ожогами. Его душа, наделенная состраданием к гибнущему миру, пугалась. Его разум разведчика жадно и остро стремился навстречу близким и грозным свершениям.

– Вам будет позволено поехать туда, где, насколько я знаю, еще не бывал ни один репортер. Вы окажетесь в зоне боев и сложнейших политических и социальных коллизий. Никарагуанцы обещали мне сделать все, чтобы обеспечить вам безопасность. Но и сами вы, я прошу, будьте осторожны...

Белосельцев почувствовал тревогу и заботу дипломата, желание поговорить с незнакомым, свежим, приехавшим из Москвы человеком не о войне и политике, а быть может, о книгах, стихах и музыке. Что было невозможно в многолюдном собрании, где каждый исподволь наблюдал за другим, искал в другом намек на военную и политическую информацию. На бледном, болезненном лице посланника промелькнуло выражение усталого, неверящего, разочарованного человека, вынужденного скрывать свое истинное видение мира.

В собрании гостей обнаружилось движение. Медленное, вязкое кружение людей по случайным траекториям, их столкновение, залипание, броуновское перемещение под готическими сводами, цветными витражами было вдруг остановлено. Все обратились к стрельчатым, украшенным резьбой и золочеными гербами дверям, словно оттуда в зал приемов вонзилась невидимая силовая линия. Построила людей, открыла среди них коридор. И в этот коридор из сумеречного, озаренного желтыми светильниками сада энергично, скоро, в камуфлированной военной форме вошел Даниэль Ортега – темноусый, улыбающийся, в скрипящих ремнях, хрустящих военных ботсах, словно только что соскочил с бэтэра. Шел, откликаясь на рукопожатия, обращая к приветствующим свое простонародное, бодрое лицо. Следом, отстав на протокольные два шага, – Эрнесто Кардинале, его соратник, министр, поэт, чьи революционные стихи публиковали сандинистские газеты, чьи песни распевали уходившие на фронт батальоны. Худой, утонченный, с седеющей эспаньолкой, большим белым лбом интеллектуала и модерниста, превращавшего жестокую войну классов в романтическое искусство революции.

Все потянулись им навстречу, норовили приблизиться, попасть на глаза, коснуться руки. Советник-посланник извинился перед Белосельцевым и, влекомый невидимой силовой линией, пошел к явившимся вождям, исчезая в водовороте, какой обычно возникает в турбулентном потоке.

– Виктор Андреевич, с приездом... – К Белосельцеву подошел невысокий неприметный человек в сером костюме, с серыми небольшими глазами, с серо-седыми, аккуратно причесанными волосами. – Полковник Широков... – Он взял бокал с желтоватым ромом из правой в левую руку, и они обменялись пожатием двух посвященных людей, улучивших мгновение, чтобы перемолвиться словом. Резидент разведки, наблюдавший за Белосельцевым с другой половины зала, теперь, когда все отхлынули и окружили вождей, счел возможным подойти к

приехавшему коллеге. – Я не стал приглашать вас в посольство. Советник-посланник воспринимает вас как журналиста, и, надо отдать ему должное, он убедил Ортегу открыть вам дорогу в засекреченные районы страны, куда мы не имеем доступа.

– Мой сопровождающий Сесар Кортес еще не сообщил мне маршрут. Я лишь почувствовал, что с этим возможны затруднения.

– Он славный парень, приближенный к Кардинале, из числа его романтиков-агитаторов. Но одновременно он выполняет функции безопасности, которая с большой неохотой пускает вас в районы боевых действий. Кубинцы на все наложили лапу, и есть зоны, откуда нам почти не удается получать информацию.

– В Москве мне очертили приблизительный круг тем, с последующим, исходящим от вас уточнением. – Белосельцев, пригубив бокал, быстро оглядел зал, не следят ли за ними другие, из-за кромки бокала, глаза.

– Вы направитесь на север и постараетесь проникнуть в приграничный Сан-Педро-дель-Норте, где, по нашим сведениям, никарагуанцы производят неконтролируемую переброску оружия повстанцам в Сальвадор. Что дает повод Гондурасу начать открытое вторжение с севера... Вы побываете в заливе Фонсека, где происходят постоянные морские стычки катеров Гондураса и Никарагуа в непосредственной близости от американских эсминцев. Эти боестолкновения могут привести к провокации, подобной Тонкинскому инциденту, после которого, как вы знаете, американцы начали ковровые бомбежки Вьетнама... И, наконец, вы побываете на Атлантик кост, где разгорается война с «мискитос» и американцы соорудили в труднодоступной сельве секретную военную базу и уже доставили туда несколько гражданских лиц из числа «оппозиционного правительства в изгнании»... Любая информация из этих трех зон будет бесценна. Послужит уточнению наших взглядов на некоторые аспекты политики Кубы и Никарагуа, которые пытаются втянуть нас в неконтролируемый конфликт с США. Наше политическое руководство заинтересовано в сдерживании конфликта, в сдерживании кубинской экспансии, которая и так требует от нас все новых и новых ресурсов...

Пустое пространство зала, откуда отхлынула масса приглашенных, чтобы приблизиться к явившемуся руководству Фронта, стало вновь наполняться. Белосельцева и полковника уже окружали люди, улыбались им на всякий случай, как если бы уже были с ними знакомы. Перехватывали их взгляды, прислушивались к их беседе. И это заставило их расстаться.

– Этот ром хорош тем, что, пока его пьешь, чувствуешь себя совершенно трезвым. Но когда попытаешься встать, ноги тебя не слушаются. – Полковник протянул Белосельцеву бокал, и тот чокнулся, как с добрым старым знакомым.

Атгаше по культуре, поверхностно-любезный, не желавший сближения, которое могло бы повлечь за собой дополнительные, ненужные хлопоты, отвез его на виллу. Светил фарами в сад, пока Белосельцев шел по дорожке, подымался на крыльцо с мерцавшим стеклянным входом, отыскивал под плоским камнем оставленный Сесаром ключ. Белосельцев обернулся, помахал благодарно рукой, и автомобиль брызнул рубиновыми хвостовыми огнями, прошуршал, затихая, в сонной глубине квартала.

Не входя в дом, Белосельцев опустил в матерчатое кресло, стоявшее на ступеньках. Смотрел в ночь, которая начиналась сразу за деревьями и кустами сада, уходила в бархатную неоглядную темень предгорий с едва заметной голубой зарей над волнистой, непроглядной чернотой вершин. Оттуда дул ровный, теплый, влажный ветер, приносивший запахи сырых растений, сладковатых, прелых болот и далекого, дышащего из-за гор океана. Сад с круглыми подстриженными кустами, корявыми, черно-глянцевыми деревьями вспыхивал светлячками, которые бесшумно облетали древесные стволы и клумбы, не приближаясь к дому, на крыльце которого сидел неизвестный им пришелец.

Завершался первый день его путешествия, который начинался в московском дожде на серо-стальной Пушкинской площади, длился над сонным сумрачным океаном, вспыхнул ослепительной бирюзой Карибского моря, ударил взрывом и переломанным крылом подбитого «Дугласа», дохнул железной ноздрей вулкана Масая, а теперь окружал его бархатной таинственной тьмой с пятнистыми зеленоватыми огоньками, плавающими в воздушных потоках.

Светлячки то сближались, образуя танцующие млечные сгустки, словно совещались и о чем-то сговаривались, а потом удалялись один от другого, осматривая глубину сада, облетая дозором ночные цветы, лежащие на тропинках камни, корявые стволы молчаливых деревьев. Не приближались к Белосельцеву, но окружали его сложным узором вспышек, плавающих зеленоватых линий, холодных огоньков, напоминавших отпечаток электронного луча на экране, за которым тянулся гаснущий млечный след. Они исследовали Белосельцева, снимали с него мерку, словно готовили для него одеяние, передавая его размеры куда-то в ночь, в невидимые холмы, кому-то незримому, кто принимал от них сообщения в темных горах с голубоватой недвижимой зарей.

Светлячки писали в темноте иероглифы, развешивали среди трав и ветвей гаснущие картины и графики, словно силились что-то рассказать Белосельцеву, поведать тайну этой земли, о чем-то предупредить, предсказать, от чего-то его уберечь. И он силился прочесть этот волшебный узор, расшифровать тающий в темноте орнамент, как если бы в нем была заключена тайна его собственной жизни. Мир, где ему суждено было родиться человеком, соприкасался с другими мирами, которые силились войти с ним в связь, сообщить о каких-то огромных событиях, поведать о каком-то всеобъемлющем смысле, дающем разгадку его, Белосельцева, жизни. Но параллельные миры оставались недоступными и непознанными, светили ему сквозь крохотные скважины зеленоватым мертвенным светом. И он задумчиво смотрел на маячки, плавающие в океане ночи.

Он вошел в дом, не зажигая огня. Привыкшими к темноте глазами осмотрел керамические тарелки на полках, обеденный стол с фруктовой вазой, диван с разбросанными полосатыми подушками, маленький рабочий столик с бумагами, у которого стояла винтовка, почти невидимая, излучавшая прохладу своим вороненым стволом, источавшая слабые запахи стали, ружейной смазки, истертого прикосновениями дерева. Дом был чужой. За хрупкими стеклами открывалась ночная равнина с безымянной, разлитой в холмах тревогой, с притаившимися духами иной земли и природы. Белосельцев взял со стола обойму, вставил в «М-16», спустился в отведенную ему комнату и лег в прохладную, чуть сыроватую постель, прислонив к изголовью винтовку.

Лежал в пустом темном доме среди тревожного безмолвия близких равнин и предгорий, окруженный светляками, посылавшими в окно загадочные кодированные позывные. Протягивая руку, нащупывал винтовочный ствол, деревянное цевье, спусковой крючок. Казалось неслучайным его пребывание здесь, с американской винтовкой «М-16», до которой он добирался через океан и два континента, а до этого – всю предшествующую жизнь, с той солнечной детской комнаты, где малиново-черный текинский ковер на стене, голубая чашка в буфете от старинного свадебного сервиза, и бабушка в пятне янтарного солнца, позволяя понежиться в теплой постельке, рассказывает ему о чеченцах и саклях, о какой-то поющей зурне и Военно-Грузинской дороге, и он так любит ее белую, чудную голову. Неужели тогда его жизнь уже несла в своей нераскрытой глубине эту ночь в предместье Манагуа, американскую винтовку у его изголовья?

Он старался понять свою жизнь, вспомнить ее всю, поделив на отрезки, в каждом из которых был свой смысл, свое ожидание, тайный намек на эту грядущую ночь, светляков, прикосновение к винтовке.

Его детство – бабушка, мать, бодрые, еще не одряхлевшие деды окружали его своей любящей шумной толпой. От каждого изливался непрерывный, прибывающий свет, словно

они передавали его вместе с наставлениями и родовыми преданиями. Те раскрашенные сказки Билибина на растресканном твердом картоне, пахнущем горьковатым клеем. Высокий тополь за окном, наполнявшийся розовым весенним свечением или каменной зимней лазурью. Фотография отца-лейтенанта, погибшего под Сталинградом, чье лицо с каждым годом все молодело, проступало на его собственном, стареющем, сыновьем лице. Его детство было жадным, стремительным поглощением любви и света, словно он был молодым растением, торопливо выбрасывающим стебли и листья. Наплывавшая светлыми приливами жизнь, из предчувствий, детских суеверий и верований, была стремлением за сверкающую тончайшую грань, которая возникала в их старинном тяжелом зеркале, где ударом бесшумного светового луча должно было обнаружиться чудо.

Его школьные годы в старших классах. Увлечение русской историей под влиянием матери и техникой под воздействием деда, конструировавшего первые русские самолеты. Эти параллельные, не противоречащие друг другу влечения создавали ощущение полета в обе стороны – в прошлое и грядущее, соединенные в его верящем сердце. Родная история в походах, царствованиях и восстаниях, в противоборстве идей и течений была созвучна конструированию огромной крылатой машины, заложенной на стапелях русских пространств, медленно возникавшей среди лесов, монастырей, деревень, взлетающей грозно и мощно. И крушение, истребление образа, когда, реабилитированный, вернулся в семью еще один бабушкин брат, о котором в семье говорили полусшепотом, с мукой. Вслед за его возвращением, за его тихими жуткими рассказами о каких-то плотах и бараках, за его кашлем и желчным отрицанием жизни в его юношеской, требующей немедленной правды душе – такое отчаяние, падение всех прежних опор, стирание прежних писанных истин.

Институт, где он прилежно изучал математику, летательные аппараты и ракетную технику. Предчувствие освоения космоса – оно угадывалось в возбуждении, охватившем целые области науки и индустрии. Техника не погасила его увлечения стариной и историей. В летние каникулы он отправлялся в этнографические и фольклорные экспедиции. Те зеленые травяные двory в Каргополье, где старухи стелили свои алые паневы, белоснежные рушники с нежной розовой вышивкой, на которых два сказочных зверя поднимались на задних лапах, обнимали священное дерево. Древние песни при негаснущем свете северной летней ночи, поля с недвижимыми лютиками, по которым, расплескивая мелкую воду, отпустив поводья, едет на коне богатырь. В нем, слушающем, подпевающим, – такая любовь, знание собственной доли, предначертанного пути под этим негаснущим небом, с напутствием синих выцветших глаз. Тогда же, после одной из деревенских поездок, была написана «Свадьба».

Его первая любовь к девушке-археологу, пришедшей под дождем в псковскую избу, где он проживал, да так и оставшейся среди зреющих яблок и душистого сена. Он плыл к ней на лодке через озеро, подвозил лукошко, полное дымчато-синей черники и истекающей соком лесной малины. Угадывал выражение ее лица, движения легкого, словно залетевшего в прозрачное платье тела. Ветер ложился на воду, гнал от него к ней летучие блески, словно опережал его приближение, и он знал, что любит ее, мир на глазах менялся, трава становилась изумрудней и ярче, озерная вода становилась огненно-синей, каждая ягода в лукошке горела драгоценно и ярко, и он помещал ее, любимую, чудную, в огромную прозрачную сферу с летящими птицами, далекими на буграх деревнями, с белым конем на лугу. Та краткая, лучезарная любовь приблизила его к пониманию простых, заложенных в мироздание истин, которых, еще усилие, и он непременно коснется, обретет всемогущее знание, одолевающее смерть и погибель, при жизни вознесется на небо.

Был целый период дружбы с псковским реставратором – колесили по белесым проселкам, по синим льнам, останавливались у подножий зеленых гор, на которых белели храмы, бугрились древние крепости. Изборская башня, грозно-серая от наплывающих туч. Красная бузина у Никольской церкви на Труворовом городище. Кованые, серебристые кресты на моги-

лах у Мальского погоста. Архитектор прежде участвовал в конструктивистских проектах, а теперь изучал архитектуру крестьянской избы, водяной мельницы, долбленной лодки. Выводил общие, заложенные в изделия человеческих рук законы. Сиюминутное время было исчезающей частью нарастающей поминутно истории. Материальный космос, куда стремились ракеты, и космос духовный, куда возносились увенчанные крестами купола, соединялись в русское мироздание, в котором ему случилось родиться. Архитектор вложил ему в руки фотокамеру, требуя снимать железные тяги, соединяющие церковные стены, и голубь испуганно топтался под сводом, и бледнела в объективе зеленоватая фреска. Или ткацкий стан с рычагами, деревянными винтами, с бегающими струнами, в которых волновался цветной половик, и старушечьи руки, корявые и сухие, казались частью деревянной конструкции. Однажды, лежа с другом в зеленой копешке, слушая крохотный транзистор, они узнали, что человек, оставив корабль, вышел в открытый космос. Его, лежащего на зеленой копне, играющего травинкой, поразило, что где-то над ними, в синеве, у самого солнца, ходит, переворачивается, купается в лучах космонавт.

И новое, по окончании института, на смену увлечению историей, обращение к цивилизации, к технике. Слово обнаружилась другая, нереализованная половина существа, копившаяся в нем, пока бродил по старым селениям, среди осевших срубов и замирающих песен. Он кинулся навстречу ослепительной громогласной реальности новых городов, колоссальных строек, космических пусков и военных маневров. Торопился узнать и освоить их грозную стомерную красоту. Ее фантастический образ – на великих русских пространствах, среди равнин и хребтов, создается громадный купол. В его стальное плетение вваривались, вбивались и впаивались все новые опоры и крепи. Свод осыпался ручьями сварки, нес в себе эхо бесчисленных голосов и ударов, дыхание людей и машин. Наполнялся энергией, был огромной антенной, копил сигнал, готовый послать его в мироздание, весть о земле и творчестве. Он, молодой инженер и философ, кружа по стройкам, сам был создателем купола. О себе, о своих прозрениях был готов направить сигнал в мироздание, ожидая ответного отклика. В этих непрерывных поездках, в полетах на сияющих огромных машинах, среди лучистых конструкций реакторов, мостов и заводов случались его любви и дружбы, смерть родных стариков, непродуманные торопливые мысли, яркие, быстро сгоравшие чувства. Его жизнь напоминала полет по циклотронной спирали, по которой он несся, оставляя вспышки столкнувшихся ядер – случайных знакомств и встреч, и Москва казалась галактикой, раскрывающейся в бесконечность спиралью с золоченым сверхплотным центром.

И внезапная усталость. Будто остановился как вкопанный, а все, с чем был связан, на чем плыл и летел, что держало и вдохновляло, – все стало от него удаляться. Будто уносили дарованный от рождения источник света, надежду на небывалое чудо, и в сумерках, в сонной неподвижности, напоминавшей дремоту покрытого снегом зерна, возник перед ним человек. Профессиональный разведчик, мистик, знаток культур и религий, прошедший в облачении дервиша по дорогам Афганистана и Индии. В тихих беседах на даче он объяснял ему, что жизнь – есть задание, которое человек получает от Бога. С этим заданием, прикрываясь «легендой» случайно выбранной внешности, случайно обретенного имени, он заслан в мир, из которого вернется к Пославшему его, чтобы передать драгоценную информацию о собственной жизни и смерти.

Так вспоминал Белосельцев, лежа в темноте тропической ночи, оглаживая ствол винтовки.

Минувший день продолжал направленное, непрекращавшееся с самого детства движение, внезапно и круто менявшее свой отточенный вектор, толкавшее его через годы и странствия к этой винтовке. Он не мог объяснить природу этого вектора, от перламутровой коробочки, стоявшей на бабушкином столе, с пуговками и цветными стекляшками к этой ско-

рострельной американской винтовке, чей ствол посылал ему в ладонь холодные молчаливые токи.

Назавтра предстояла дорога. И он, как давно не делал, как делал лишь некогда в юности, мысленно обнял всех дорогих и любимых, живущих еще на земле и тех, кто ушел из жизни. Поместил их всех в своем сердце.

Глава третья

Утром в окно он увидел желтую длинную зарю, недвижно застывшую над волнистой темной грядой. Под этой зарей неразличимо чернела равнина, бестрепетно молчали глянцевиные листья деревьев. Этот утренний свет сочетался в его ощущениях с предрассветным холодком, от которого зябли разогретые во время сна спина и плечи. Но тут из окна слабо сочился маслянистый душистый воздух, от которого кожа казалась натертой глицерином.

Он услышал тихие голоса, стук машинной дверцы. Быстро оделся, ополоснул лицо, вышел наружу в тот момент, когда Сесар и Росалия несли продолговатый тяжелый ящик к машине.

– Доброе утро, друзья! – Он перехватил у Росалии ящик, помогая Сесару пропихнуть груз на заднее сиденье. – Кажется, я не проспал и успею проститься с Росалией.

– Мы уедем все вместе, – ответил Сесар. – Но потом, от Линда Виста, Росалия повернет на восток, на Матагальпу и дальше, к Пуэрто-Кабесас. А мы по Карратере Норте поедem в Саматильо... Не волнуйся, Росалия, не раздавим твою вакцину. Видишь, она на мягком сиденье.

– Сесар сказал, что вы через неделю прилетите в Пуэрто-Кабесас. Буду вас ждать, устрою прием.

– Пусть она устроит нам обед из морских черепах и креветок в китайском ресторане. Каждое утро на пристань привозят живых морских черепах. – Сесар старался казаться веселым и бодрым, но в словах его слышались тревога и нежность, которую он прятал за жизнерадостными жестами и смехом.

– А ты опять пойдешь на дискотеку и станешь отплясывать с толстушкой Бэтти. – Росалия вторила ему, посмеиваясь, но глаза ее оставались печальны. – Она до сих пор не может опомниться. Все спрашивает, когда ты приедешь.

– Передай толстухе Бэтти, что мы возьмем ей для танцев Виктора. Будете танцевать с ней румбу.

– Но я не умею танцевать румбу, – сказал Белосельцев.

– Бэтти научит, – усмехнулась Росалия.

– Она вас всему, чему хотите, научит, Виктор!

– Кое-что я и сам умею, – скромно сказал Белосельцев.

– Перестань смеяться над Бэтти, – запретила мужу Росалия. – Она действительно полновата, но отличная медицинская сестра, замечательно делает прививки. Когда нас освобождали из плена, ее ранили. Рана еще болит, но она не унывает, смеется. А это, поверьте, очень важно там, где идет война и каждый день убивают.

– Мы любим Бэтти и не смеемся над ней. – Сесар наклонился к жене, легонько тронул ее висок губами. Он был одет в военную форму, в грубые ботсы, опоясан толстым капроновым ремнем с кобурой.

Они позавтракали, отпуская в адрес друг друга легкие шуточки, которыми удавалось скрыть тревогу и печаль расставания. После завтрака Сесар перенес в желтую «Тойоту» жены две канистры бензина, укрепил в багажном отсеке. Росалия вынесла на распялке платье, длинное, белое, с розовым цветком. Аккуратно повесила его в машину. Сесар положил на переднее сиденье три ребристые ручные гранаты и кобуру с пистолетом. Росалия благодарно кивнула, спрятала пистолет куда-то в глубину, под сиденье.

Заперли дом. Росалия протянула Белосельцеву длинную смуглую руку. Прощаясь, коснулась его щеки своей нежной горячей щекой.

– До встречи на «Атлантик кост»!

Сесар осторожно, почти не касаясь, словно трогал воздух вокруг ее хрупких приподнятых плеч, обнял жену, поцеловал в губы.

– Виктор, можем ехать, садитесь...

Две их машины – впереди Росалия, следом они – выехали по хрустящей дорожке на асфальт. Миновали белую церковь Санто-Доминго. Влились в утренний, начинавший шуметь город. Задержались на перекрестке. Белосельцев видел, как Росалия опустила стекло и купила у мальчишки газету. Мчались по прямой трассе, в конце которой сквозь городской смог возвышался зеленый конус Момотомбо. Росалия приторомозила, прощально помигала огнем. Обернулась, помахала. Скользнула в сторону и исчезла. Сесар, словно запрещая себе следовать за ней, резко повернул, пересекая след исчезнувшей «Тойоты», рванул вперед по рокочущей брусчатке, мимо большого плаката, на котором припавшие на колено солдаты в пятнистой униформе били из автоматов красными нарядными язычками.

Мчались по просторному панамериканскому шоссе среди зелени, солнца. Белосельцева охватило вдруг молодое, пьянящее чувство дороги. Глаза расширились, как у птицы, приобрели панорамное зрение, и он различал отдельные солнечные камни на далеких откосах, блеск листвы на удаленных круглых деревьях, синее сияние асфальта, бросавшего навстречу то яркий грузовик, то арбу с быком, то вереницу крестьян с плоскими мачете на плечах, мокрыми от травяного сока. Фотокамера лежала на коленях. Белосельцев чувствовал свою оснащенность, готовность наблюдать, замечать, а если надо, ловить в объектив мелькающие детали ландшафта.

Просверкал, проблестел металлическими конструкциями нефтеперегонный завод. Белосельцев, любясь сочетанием серебристого металла и сочной лесной растительности, одновременно искал и не находил обороняющих завод сооружений, пулеметных гнезд, капониров с зенитками.

– Недавно хотели взорвать, – словно угадал его мысли Сесар. – Уже динамит заложили, бикфордовы шнуры протянули. Рабочие заметили и обезвредили. «Контрас» наносят удары по энергетике, хотят вызвать топливный голод, ропот водителей тяжелых грузовиков, как в Чили...

Белосельцев изумлялся беспечности, с какой охранялись стратегические объекты страны, доступные проникновению диверсантов. Революция, которую он здесь наблюдал, казалась романтической, не обременяла себя повседневным изнурительным деланьем. Ей хватало стихов Кардинале, живописных плакатов с широкополой шляпой Сандино, марширующих «милисианос».

Открылся округлый, с рыжими осыпями провал, и в нем зеленая, недвижимая, окаменевшая вода – лагуна в кратере, восхитительно-драгоценная. Поворачивая голову, он наслаждался бездонным изумрудным цветом. Вообразил эту сужающуюся ко дну огромную водяную каплю.

– Асокока, – сказал Сесар. – Отсюда Манагуа воду пьет. «Контрас» старается отравить. Это делается очень просто. На ходу из машины из пистолета стреляют ядовитой таблеткой, и вся столица отравлена.

И опять Белосельцев не разглядел ограждений, постов, изумляясь легкомысленному отношению к хранилищу питьевой воды.

У дороги под кручей заплескались мутно-рыжие волны озера, уходящего к подножию вулкана Момотомбо с его уменьшенным, трогательным подобием – Момотомбино. «Мадонна с младенцем», – с нежностью подумал Белосельцев.

– Здесь, – Сесар указал на белевшие за озером белые строения, – геотермальная станция. Очень важный источник энергии. Сюда пытался прорваться их самолет, но мы его отогнали...

Уже не было недавней счастливой легкости, молодого и жадного восхищения дорогой. Он, разведчик, высматривал, оценивал, сравнивал. Добывал из окрестных пейзажей первые малые толики боевой информации.

Шоссе, озаренное солнцем, с голубыми, пересекавшими его тенями, было стратегической трассой, соединявшей военную границу Гондураса с Манагуа. Танкоопасным направлением,

по которому, в случае войны, устремится к столице вал вторжения. Танковый удар, подкрепленный ударами с воздуха, способен достичь столицы менее чем за двое суток. И не было видно вокруг подготовленных рубежей обороны, противотанковых рвов, заминированных обочин, разбросанных на холмах расчетов противотанковых пушек. Окрестные, невысокие взгорья исключали возможность направленных взрывов, когда саперами обрушивается склон, засыпая и преграждая дорогу. Танки были способны свернуть с асфальтовой трассы и двигаться по обочинам, преодолевая холмы. Белосельцев оглядывал мелькавшие распадки и рощи, придорожные строения и складки местности, оценивая возможность организовать оборону, разместить летучие отряды истребителей танков. Было неясно, на что рассчитывает сандинистская армия, нагнетая напряженность на границе, не имея при этом средств для отражения нашествия.

Ему показалось, что Сесар заметил его чуткое вглядывание, не похожее на обычное любопытство путешественника. Постарался усыпить его бдительность, развеять малейшие подозрения, если таковые возникли у этого любезного, благодушного никарагуанца, призванного не только опекать его в странствии, но и ненавязчиво за ним наблюдать.

– Сесар, я хотел вас спросить. Вы – писатель. Какие книги вы написали?

– «Писатель» обо мне – чрезмерно! – рассмеялся Сесар простодушно, как бы подтрунивая над собой. – Я выпустил несколько маленьких брошюр для армии, для солдат. И меня стали называть писателем. Я обладаю достаточным юмором, чтобы не обижаться. Но, может быть, Виктор, если буду долго жить, я напишу мою книгу. Только одну. Ту, что собираюсь писать всю жизнь, но не удастся написать ни страницы.

Они мчались среди тучных, ухоженных полей хлопчатника. В междурядьях двигались упряжки волов, тракторы, погружая ребристые колеса в сочную зелень. Белосельцев всматривался в мелькание полей и проселков, ожидая винтовочной вспышки или красных автоматных язычков, подобных тем, на плакате. Но было тихо. На известковой стене хлопкоочистительного завода пропестрела оттиснутая красным широкополая шляпа Сандино.

– Что это за книга, Сесар, которую вы пишете целую жизнь?

– Признаюсь, еще в детстве, в школе, я решил, что стану писателем. Какая-то детская вера, какой-то зародыш, как в курином яйце, в желтке, маленький плотный сгусток. Наверное, это и была моя книга, ее неоплодотворенный зародыш. Даже сел писать ее. Она должна была рассказать о завоевании испанцами Америки, о борьбе индейцев. Я придумал историю про юношу, родившегося от испанца и индейской женщины. Составил план, купил красивую тетрадь, новую ручку. Принимался рисовать иллюстрации. Наконец сел и начал первую страницу про галеоны, приближающиеся к побережью Нового Света. В этот день, в день первой страницы, на нашу семью обрушилось несчастье. Гвардейцы арестовали отца. Он был известным адвокатом в Манагуа, защищал революционеров. Его арестовали днем, а вечером нам сообщили, что он умер от разрыва сердца. Так и не написал роман о конкистадорах...

Сесар печально улыбался, словно просил не судить его строго за эту наивную исповедь, возможную только в дороге и только малоизвестному человеку, который скоро о ней забудет.

Белосельцев видел близко его крутой лоб, горбатый нос, крепкий, чуть раздвоенный подбородок. Ему нравилось это сильное, с застенчивой улыбкой лицо, в котором, как в отливке, сплелись две расы и две истории. В его коричневых глазах угадывались испанские и индейские предки.

– Но это не все. – Сесар повернулся к нему, словно хотел убедиться, позволено ли ему продолжать. Белосельцев кивнул, радуясь своей нехитрой уловке, благодаря которой внимание спутника было отвлечено и можно было, слушая исповедь, исподволь вести наблюдение. – В университете я стал членом сандинистской организации – конечно, подпольной. Погрузился в политику, в агитацию, в подготовку восстания. Но по-прежнему мечтал о книге. Но теперь она должна была быть об отце, о его борьбе, его смерти. Я продумывал главу за главой, но писал только листовки, протоколы наших тайных собраний, политические воззвания. На книгу

у меня не было ни минуты. Когда меня в первый раз арестовали и посадили в тюрьму, у меня появилось много времени, но не было бумаги. В тюрьме нам запрещалось иметь бумагу...

В прогалы деревьев, над мерцающей зеленью полей Белосельцев увидел крохотную черточку самолета. Вид этой малой, на бреющем полете, машины напомнил о вчерашней воздушной атаке. Руки схватили фотокамеру, а спина пугливо втиснулась в сиденье. Испуганно ожидая атаки, готовясь снимать разрывы, он смотрел, как красный нарядный самолетик виртуозно развернулся над полем, выпустил бело-прозрачный шлейф и, рассеивая его над растениями, миролюбиво и аккуратно опрыскивал, а израсходовав запас вещества, улетел.

– В партизанском отряде, когда скрывался в горах, или выбирался тайком за границу, или с товарищами совершал боевые налеты, я продолжал мысленно писать мою книгу. – Белосельцев устыдился своей уловки, на которую поддался доверчивый и романтический спутник, одаривая сокровенными переживаниями. – Я хотел описать наши горные стойбища, опасные переходы, засады. Героическую смерть товарищей. Мою рану, когда мы попали в окружение в сельве. Мою любовь к Росалии, которая воевала в соседнем отряде. Рождение нашего сына и его смерть. Он заболел лихорадкой, и не было детской вакцины, чтобы его спасти. Я дал себе слово, что напишу книгу о революции, как только мы победим. Когда наша боевая колонна вышла из Масаи, вошла в Манагуа и было всеобщее ликование народа, я решил – откладываю винтовку и берусь за перо. Но меня вызвало руководство Фронта и сказало, что направляет на важный участок работы – проводить реформу образования на Атлантическом побережье. Поручает мне написать учебник для «мискитос». Я сел за письменный стол, который вы видели, и написал не книгу, а букварь для индейцев, и теперь по нему учатся индейские дети...

Белосельцев был благодарен Сесару. Он только что услышал историю человеческой жизни, уместившуюся в пятикилометровый отрезок голубого, в солнечных пятнах, панамериканского шоссе. Ему хотелось не остаться в долгу и на следующем пятикилометровом отрезке поведать Сесару о своих исканиях. Но тогда в ответ на искренность он должен будет лукавить. Рассказывая о странствиях, о зрелищах стран и народов, о видениях и тайных предчувствиях, должен будет умолчать о своем предназначении разведчика. И это его останавливало.

– Теперь, когда вторглись «контрас», когда мы отражаем атаки, готовимся к агрессии гринго, к народной войне, теперь опять не до книги. Я очень много знаю, Виктор, много видел и перенес. И книга моя готова, она вот здесь! – Он отпустил на мгновение руль, тронул грудь обеими руками. – Я вам признаюсь, Виктор. Я стал бояться смерти. Стал бояться, что меня могут убить и я так и не напишу мою книгу. Очень странное чувство, материнское, что ли. Но, может быть, это чувство настоящего писателя?..

Он тихо, застенчиво засмеялся, словно просил у Белосельцева прощения за эту невольную исповедь. Белосельцев был ему благодарен. Представлял, как по другому шоссе, в ином направлении, удаляется желтая «Тойота», и в ней Росалия. Повесила в машине нарядное платье, поглядывает на гранаты – подарок любимого человека. Сесар был настоящий писатель, не написавший ни единой книги. Облаченный в маску, брал заложников, целил гранатометом в ползущий по горам броневик, умирал от раны в лесном лазарете, плакал над умершим младенцем. Этот нереализованный в творчестве опыт создавал в нем огромное напряжение. Был непрерывным, носимым под сердцем страданием.

Они мчались по озаренному перламутровому шоссе. Свернули на кофейного цвета проселок. Приблизились к поселению, состоящему из низких, плосковерхих домов, залитых слепящим солнцем.

– Это лагерь сальвадорских беженцев, – сказал Сесар. – Здесь работает врач-француз. Меня просили передать ему коробку с лекарствами...

В тесном строении, пахнущем карболкой и хлоркой, среди клеенок, флаконов с жидкостью и нехитрого медицинского оборудования доктор в белом халате – Аллан Абераль из

Марселя, как аттестовал его Сесар, – осматривал ребенка. Касался стетоскопом худых вздрагивающих ребер, поглаживал черноволосую бритую головку с пятнами зеленки на шелушащихся лишаях. Отвлекся, увидев вошедших. Улыбнулся Сесару, опускающему на пол картонную коробку с медикаментами:

– Проходите, садитесь. Через минуту я к вашим услугам.

Продолжал прослушивать мальчика. Белосельцев отметил, как осторожны, точны и в то же время нежны его прикосновения. Как ласково, внимательно смотрят его серые усталые глаза на испуганного, вздрагивающего мальчика. Тот боялся металлического блеска прибора, каждый раз пугливо заглядывал в близкое, бледное лицо доктора, как бы убеждаясь, что ему не сделают зла.

Сальвадор, откуда явились беженцы, был охвачен гражданской войной. Повстанцы Фронта имени Фарабундо Марти вели бои на подступах к столице, Сан-Сальвадору. Авиация бомбила повстанцев. Правительственные войска и «эскадроны смерти» наносили удары по базовым районам восставших. Фронт Фарабундо Марти обращался к сандинистам за помощью, за оружием. Гранатометы и автоматы, поступавшие для Никарагуа из Советского Союза, переправлялись через границу в Гондурас и оттуда, тайными тропами, по болотам и топким ручьям, уходили в Сальвадор, питали восстание. Гондурас заявлял протесты по поводу нарушения его границ, концентрировал войска, грозил войной. Белосельцеву надлежало узнать, как часто и какими путями поступает в Сальвадор оружие, усиливающее напряженность. Так разгораются лесные пожары. Ветер по воздуху разносит летучий огонь, и вокруг основного пожара множатся очаги возгорания. Кубинская революция была пожаром, от которого летели огни по всему континенту, разносимые ветром восстаний.

Комнатка, где они оказались, была тесной и душной. Обшарпанные стены. Застекленная полочка с медикаментами. Портрет Швейцера, вырезанный из журнала. Несколько детских целлулоидных игрушек. Доктор завершил осмотр мальчика, помазал свежей зеленкой лишай на детской голове, легонько потрепал его по чумазой щеке и отпустил. Что-то записал в журнал. Поднял на вошедших молодежавое утомленное лицо.

– Сеньор Сесар, благодарю за медикаменты, – кивнул он на привезенную коробку. – Я пользуюсь здесь минимальным набором. Да и тот на исходе.

– Мой друг из Советского Союза Виктор, – представил Белосельцева Сесар. – Журналист, фотограф. Приехал в Никарагуа написать о нашей борьбе.

– Вы увидите здесь много горя, – печально сказал доктор. – Ваша камера устанет снимать.

– Ведь ваш стетоскоп не устал слушать? – любезно ответил Белосельцев, привыкший в каждом новом знакомстве усматривать потаенную опасность или источник непредвиденной информации.

– Если быть откровенным, иногда наступает усталость. Приходит отчаяние. Мысль, что все безнадежно. Горя слишком много, и оно все увеличивается. Наше стремление к благу наивно и бессмысленно в мире, где правит беда. И тогда приходит отчаяние.

– Известно, что такие минуты переживал и Швейцер в своей габонской больнице. – Белосельцев посмотрел на портрет, приклеенный скотчем к обшарпанной стене над склянками с микстурой.

– В минуты личного бессилия обращаешься к великим подвижникам. Это возвращает силы.

– В современном индуистском трактате написано, что мир настолько испорчен, настолько пагубен, что уже давно бы погиб в войнах, пороках и ненависти, если бы где-то в Гималаях не скрывались несколько праведников. В поднебесных пещерах они молятся за этот мир, спасают его от гибели.

Доктор задумался, словно представлял голубые небесные горы и белобородых старцев, стоящих на молитве, простирающих к облакам свои коричневые, иссушенные руки.

– Вы не поняли меня. Я говорю не о тибетских отшельниках, а о подвижниках, действующих среди нас, обыкновенных людей. Каждый, кто согласен принести хотя бы минимальную жертву во имя других, поддерживает на этом месте свод мира. Несет на своих плечах войны, болезни, мировое зло, растрение, всю страшную тяжесть, готовую разрушить свод. Таких людей много, поэтому свод не падает. Но нести становится все труднее. Зла все больше, свод все ниже. Жертва каждого должна быть все активней и бескорыстней.

Бледные щеки доктора порозовели. Европейец, явившийся в глухомань чужого континента, охваченного войной и страданием, он воспользовался случайным появлением людей, способных его понять. Говорил о программе своей жизни – об этике индивидуального служения.

– Наверное, здесь, на этом месте, вы тоже поддерживаете свод. Приносите свою личную жертву, – сказал Белосельцев.

– К сожалению, жертва моя не столь велика. Я принадлежу к достаточно обеспеченной семье. Учился в Сорбонне. Моя жизнь должна была сложиться иначе. Но когда я понял истины, о которых упомянул, я порвал с респектабельностью, порвал с сословными нормами и приехал сюда. Расстался с моими родителями, которые отказывались меня понять. Расстался с богатой практикой среди буржуазной клиентуры. Жена отказалась ехать со мной, вышла замуж за другого. Вот, собственно, и все мои жертвы. Достаточно ли их, чтобы уравновесить нарастающее в мире зло? Очень много страданий. В нашем лагере много страдающих, несчастных людей. Если хотите, я покажу вам лагерь...

Белосельцев добывал информацию об оружии, поступающем из Никарагуа в Сальвадор. И было важно, хотя бы в отражении, узнать о стране, где это оружие стреляло.

Лагерь размещался в нескольких примыкавших одно к другому строениях, полуразрушенных, с внутренним двором, утопанным, без единой травинки. Трущоба делилась на множество тесных отсеков, созданных развешанной мешковиной, дощатыми переборками, остатками ящиков. В этих полутемных загонах копошилась, дышала, кашляла, попискивала и постанывала жизнь. Эта жизнь состояла из множества тихих, не играющих, не шалящих детей, которые клеили, шили, шелестели бумагой и тканью. Женщины, неопрятно одетые, стирали какие-то линялые тряпки, погружали худые, длинные, перевитые венами руки в едкий пар. Старики и старухи недвижно сидели на ящиках, на поломанных стульях, такие худые и притихшие, что казалось, они высохли в этих позах, уменьшились, сморщились, стали частью поломанной мебели. На закопченной плите стояли черные котлы, в них булькало какое-то липкое варево, то ли еда, то ли клей. Женщина мешала варево палкой, и несколько полуголых, с набухшими пупками детей, подняв вверх лица, терпеливо ждали. Царивший в помещении запах был запахом смерти, которая пригнала их сюда, стояла по всем сумрачным углам, присутствовала в каждой тряпке, в кляксах на стенах, в расколотой тарелке, в велосипедном, висящем на гвозде колесе, в лошадином стремях, брошенном у порога. Здесь не было ни одного молодого мужчины, ни одного юноши, ни одного крепкого, полного сил человека. Белосельцев чувствовал особое, расщепленное состояние воздуха, в котором были рассеяны молекулы беды. Задерживал дыхание, не пускал их в себя.

– А где молодые? – спросил он растерянно.

– Молодые в Сальвадоре воюют. Или уже убиты фашистами, – ответил Сесар, окаменев лицом, словно выточенным из красного сухого песчаника.

– Сюда пройдите. – Доктор Абераль приподнял жесткую мешковину с оттиснутыми краской литерами. – Здесь живет Мария Хосефина Авила. Она из департамента Морасан, где на склоне вулкана идут бои. У нее убили всех родственников. Она забрала своих и чужих детей и бежала сюда, в Никарагуа. Всего с ней десять детей.

Белосельцев шагнул под полог и очутился в углу, сплошь заставленном топчанами, кроватями, люльками. В двух подвешенных гамаках спали почти грудные дети, похожие на фасо-

лины в стручке. Навстречу поднялась изможденная женщина с худыми ключицами и вислыми пустыми грудями, обмотанная какой-то хламидой. За хламиду уцепились двое детей, смотрели на шошедших круглыми, тревожными, «лесными», как показалось Белосельцеву, глазами.

– Сеньор доктор говорит правду, – сказала женщина и затем заученно, видимо не в первый раз, поведала свою историю: – Я – Мария Хосефина Авила, из деревни Сан-Хуан Онико. – Женщина вытащила из выреза хламиды потемнелый крестик, будто клялась на нем, просила ей верить. – Мы все в деревне помогали партизанам, кто едой, кто одеждой, кто пускал на ночлег. К нам явились люди, сказали, что они партизаны, просили помочь. Из домов им сносили хлеб, деньги, одеяла. Они брали, благодарили, кланялись. Потом всех мужчин, кто им помогал, связали и погнали из деревни. Нас, женщин, заперли в церкви, сказали, что порог заминирован и, если попытаемся выйти, взорвемся вместе с церковью. Я вылезла из окна, упала на траву, ушиблась и кинулась им вдогонку. Бежала по дороге и находила наших мужчин убитыми, зарезанными и застреленными. У колодца нашла моего убитого мужа, ему перерезали горло. У распятия увидела убитого брата, ему отрубили обе руки. У края поля нашла других братьев, у них были пробиты головы и выколоты глаза. По всей дороге лежали наши убитые мужчины. Потом я услышала взрыв. Когда вернулась в деревню, церковь горела, и в ней было много убитых и раненых женщин. Три дня мы хоронили всех, кто умер. А потом достали повозки, погрузили детей и уехали из Сан-Хуана, кто в Мексику, кто в другой департамент, а я – сюда. Не могла погрузить на повозку одежду, посуду, только детей. Это правда, все так и есть.

Она держалась за крестик, и, пока говорила, появлялись, вставали рядом с ней, цеплялись за юбку, прижимались к ее тощему, сгоревшему телу дети, мал мала меньше. И те, что спали в гамаках, проснулись без плача и молча тарачили огромные, слезные, «лесные» глаза. Сумерки до самых дальних неосвещенных углов мерцали испуганными глазами, словно в стены трущобы были замурованы бесчисленные детские глаза. Белосельцеву стало худо. Ему показалось, что он теряет сознание, и он боялся ступить, боялся наступить подошвой на мерцающее из пола выпуклое детское око.

– Теперь вот сюда. – Француз приподымал рукой другой свисающий занавес, приглашая Белосельцева. – Здесь живет старик Илларио Руис. Все время молится. Говорят, что он ясно-видец. Может на расстоянии видеть. Три его сына ушли в партизаны. Отсюда, далеко от них, он будто бы видел смерть двух старших. Один напал на солдатский пост, и в него попала пуля, когда он перепрыгивал какую-то изгородь. Другой укрывался в горах от самолета. Самолет стрелял в сына, а тот в него из винтовки. Самолет его разбомбил. Третий сын пока жив, воюет. Старик верит, что только он, отец, может уберечь последнего сына. Он все время на расстоянии не выпускает его из поля зрения. Если сыну грозит опасность, предупреждает его, посылает ему свои силы. Не спит, не приходит есть, а только стоит на коленях и следит за сыном. Говорит, если оставить сына без присмотра хоть на минуту, его могут тут же убить...

Белосельцев всматривался в полутьму, где спиной к нему, выставив черные растресканные ступни, шевеля острыми лопатками, стоял на коленях старик. На расколоте ящичке была укреплена открыточка со Спасителем, горела лампадка из пузырька. Старик кланялся, припадал лбом к масленому огоньку, что-то бормотал. Белосельцев с трудом разобрал:

– Антонио, они тебя окружают!.. Ложись, Антонио!.. А теперь стреляй!.. Сейчас я тебе помогу!.. Вот так, Антонио!.. Теперь тебе легче, сынок?.. Беги к камням, они тебя там не достанут!..

Снова клонился лбом к разноцветной открытке, заслонял огонек растрепанной седой головой. Белосельцеву померещилось, что темную комнату прорезал луч, как от работающего киноаппарата, и на освещенном экране, среди перламутровых гор, по зеленому лесистому склону двигалась цепь солдат. Пикировал в блеске винтов самолет, оставляя клубы разрывов. Повстанцы прорывали кольцо окружения. Юноша, потный, горячий, уклонялся от фонтанчи-

ков пуль, прятался за валун, лязгал затвором винтовки. Луч исходил из стариковского сердца, протягивался к юноше, питал его жаркой, спасительной, отцовской любовью.

– А вот здесь, – француз был поводырем, который вел Белосельцева по бесконечным кругам страданий, – здесь живет Флора Августина. Она душевнобольная. Заболела, когда потеряла своего жениха. Он партизанил в горах, собирался прийти в деревню венчаться. Она поджидала его в подвенечном платье. Дома готовили свадебный стол. Священник открыл деревенскую церковь. Но на пути в деревню жениха поймали солдаты, привязали к дереву и подожгли. Когда ей об этом сказали, она сошла с ума...

Им навстречу с топчана поднялась худенькая легкая девушка. Цепкая, быстрая, улыбалась, приплясывала, прихорашивалась, заглядывая в зеркальце. Вплетала в черные волосы алую ленточку. Хватала расколотую, без струн, гитару и что-то напевала. Колыхала бахромой изношенного подвенечного платья. Когда к ней вошли, она недовольно на них махнула:

– Ну пожалуйста, не торопите меня!.. Разве Карлос уже приехал?.. Падре Фелиппе пусть немного еще подождет... Видите, я почти собралась... Куда подевались мои красные бусы?.. Карлос просил меня надеть его любимые красные бусы!..

Она кокетливо поводила плечами, смотрела в зеркальце, надевала несуществующие бусы.

Белосельцев погружался в ее безумие. Видел корявое, одинокое, растущее на склоне дерево. Привязанного к нему жениха. Плеск из канистры. Потемневшую, отекающую бензином одежду. Трескучий красный взрыв с истошным, яростным, мгновенно затихающим воплем. Ощутил большой, во всю спину и грудь, ожог.

Советское оружие в корабельных трюмах переплывало через океан в Никарагуа, оснащало революционную армию. Сандинистский Фронт, не испрашивая разрешения СССР, часть военных поставок направлял в Сальвадор, где Фронт Фарабундо Марти воевал с «эскадронами смерти». Белосельцеву надлежало разведать способы переправки оружия, чтобы политики, боясь расширения конфликта, прекратили поставки. Но безумная, набеленная Флора ходила за ним по пятам, ловила в зеркальце несуществующее лицо жениха. Мария Хосефина, окруженная выводком черноглазых детей, накрывала их головы латаным фартуком, заслоняла от долбящего огнем самолета. И Белосельцев, забывая, что он разведчик, выполняющий волю политического руководства страны, желал, чтобы автоматы Калашникова, вороненые трубы гранатометов, зеленые клубни ручных гранат и ребристые противотанковые мины уходили тайным потоком в Гондурас, а оттуда к изумрудному склону вулкана Морасан, где вели сражение повстанцы.

Они прощались с французом, выходили к машине, а вслед из-за блеклой мешковины доносилось стариковское бормотание:

– Осторожно, мой мальчик!.. Они окружают тебя, Антонио!..

Они мчались по шоссе, которое, как пояснял Сесар, прежде называлось Сальваторитой, по имени сестры Сомосы, а теперь, в честь праздника родины, было переименовано в шоссе 19 июля. Солнечная долина с полосатыми черно-зелеными полями хлопчатника, с возделанными цитрусовыми плантациями прежде принадлежала латифундисту Акело Венерио, который бежал в Гондурас. Теперь же земля перешла под контроль государства, поля были утыканы флажками-ориентирами для сельскохозяйственных самолетов, и желтая, с пропеллером, стрекоза лихо пикировала, выпуская белую пудру.

Сесар включил приемник, и музыка, как разноцветная бабочка, как солнечный витраж, сверкающая, в переливах, в бесконечных узорах, прынула, затрепетала. На каждой волне звучали мужские, женские, страстные, томные, яростные, рокочущие голоса. Гремели барабаны, струны, тарелки, шелкали кастаньеты, звенели бубенцы. Казалось, весь континент от Мексики до Чили, каждый островок Карибского моря, каждый городок Коста-Рики и поселок Гондураса танцевали, плескали юбками, шелкали каблуками, играли яркими монистами на дышащей

груди, топорили из-под широкополых шляп черные усы. Умоляли, пленяли, кокетничали, пили ром и текилу, умирали от страсти. И не было войны, революции, американских эсминцев, приграничных перестрелок, а только вечный праздник, вечные румба, самба, ча-ча-ча, аргентинское танго. На волне Панамы томный голос, сладостно-приторный, как нектар, тягучий и благоухающий, как мед, пел о любви столь неодолимой и сильной, что поющий любовник был готов превратиться в кружевной подол платья, которого касались колени любимой, в туфельку, украшавшую маленькую ножку возлюбленной, в подушку, куда ночью опускалась ее голова с распущенными волосами, в цветок, распустившийся утром под ее окном.

Сесар притормозил у обочины, недалеко от развилки шоссе, пропуская мимо дымный тяжелый хлопковоз с клетью, набитой ватными ключьями. Достал термос. Отвинтил никелированную крышку. Налил в нее кофе с облачком душистого пара. Протянул Белосельцеву:

– Подкрепитесь, дорогой Виктор. В Саматильо мы пообедаем, а теперь для поднятия тонуса – глоток кофе.

– Благодарю. – Белосельцев принял из большой, осторожной руки Сесара горячий сосуд. С наслаждением пригубил густой, смоляной, переслащенный напиток, оставивший на языке горько-сладкий ожог. – Вы как заботливая нянюшка. Ухаживаете за своим воспитанником. Угощаете кофе. Возите его по разным интересным местам. Наставляете, учите уму-разуму.

– Нет, дорогой Виктор. Это я у вас должен учиться. Ваша революция старше нашей на целых шестьдесят лет.

– Значит, это я ваша нянюшка-бабушка, а вы мой внучек?

– Выходит так, Виктор. Наш личный возраст связан с возрастом нашей революции. Ваша революция самая старшая, умудренная. Она – как наша мать. Кубинская революция – наша старшая сестра. А революция в Сальвадоре – маленькая, грудная. Ее надо вскармливать.

– Поэтому вы направляете в Сальвадор оружие?

– Оружие – молоко революции. Мы вскармливаем нашу грудную сестренку.

Музыка, ликующая, радужная, сотканная из лучистых спектров, из шелковых лоскутков, из пышных юбок, в которых топочет лакированными туфельками пышногрудая танцовщица, – радостная и яростная мелодия пьянила, волновала, порождала звенящий, счастливый ток крови, где вскипали жаркие пузырьки, и в каждом билась и сверкала огненная музыка.

– Эта дорога, – Сесар указал на асфальтовую трассу, уходившую в сторону, в голубую туманную низину, наполненную солнечной пылью, где едва различались золотисто-белые, в дымке, строения, – эта дорога на Саматильо. Там пообедаем, отдохнем. А эта, – он указал длинным, смуглым, остроконечным пальцем на ответвление трассы, ведущей к холмам с рыже-зелеными зарослями, – эта ведет в Гуасауле, к границе Гондураса. Там запретная зона, бои. Туда нам не следует ехать.

– Сесар, нам туда невозможно не ехать, – с легкомысленным и наивным лицом возразил Белосельцев, чувствуя первую возникшую на пути преграду, которую ему предстоит одолеть. – Ехать к границе и остановиться в каких-нибудь десяти километрах! Ни один журналист себе этого не простит! – И добавил про себя, зло и язвительно: «И разведчик тоже. Танкоопасное направление начинается от реки Гуасауле, и, как бы ни противилась моя любезная нянюшка, я увижу мост через реку».

– Руководство поручило мне заботиться о вашей безопасности, Виктор. Мне не простят, если я привезу вас в Манагуа с пулей в теле. На этом участке особенно часто прорываются «контрас». На прошлой неделе мы хоронили субкоманданте, чью машину обстреляли из гранатомета.

Белосельцев смотрел на синюю, гладкую трассу с солнечными слюдяными озерцами миражей, за которыми золотилась долина и таинственно и влекуще мерцал городок Саматильо. Перевел взгляд в сторону от перекрестка, где начинались невысокие сухие холмы с коричнево-зелеными зарослями, под цвет камуфляжа. По этому пятнистому, исчезающему в хол-

мах шоссе катились от границы прозрачные, невидимые волны опасности. Дули в его сторону невесомые сквознячки смерти. словно большая рыже-коричневая собака прилегла за перекрестком, облизывала его прохладным языком, залезала им под рубаху, холодила горячий лоб, касалась влажных, потных бровей. Ему было знакомо это пугающее предчувствие, волнуемое и тревожное предощущение, возникавшее вдруг на горной афганской тропе, или на опушке африканского леса, или в болотных тростниках Кампучии, будто притаились невидимые стрелки, выцеливали сквозь оптику его лоб, дышащую шею, грудь. И вена, которую через секунду разорвет пуля, лобная кость, готовая пропустить сквозь себя стальной сердечник, ныли от боли и страха.

Он помнил места в своих путешествиях, ландшафты, по которым пролегал его путь, где поджидала его смерть, так и не обнаружившая себя, не показавшая свою кровавую хрипящую пасть. Иногда у него возникало суеверное подозрение, что сотворивший его Господь, задумавший его жизнь как непрерывное военное странствие, умножение грозного опыта, накопление трагического и жестокого знания, специально продлевает его век, уберегает от преждевременной смерти, награждает долголетием, дабы сделать свидетелем чего-то непомерного, ужасного, сокрушительного, что непостижимо для обыденного рассудка, но – только для разума, искусленного в зрелищах войн, мировых катастроф и трагедий. Он не мог вообразить, свидетелем какой вселенской катастрофы желает сделать его Создатель. Но верил, что пребывает под Его покровительством. Стремясь навстречу опасности, не искал Его, но лишь следовал Его желанию и воле.

– Какая же оперативная обстановка сложилась в этом районе? – обратился он к Сесару, еще не зная, как побудить его двинуться к границе. – Наверняка вы владеете обстановкой.

– Раньше на реке Гуасауле был мост, была таможня. Теперь мост поврежден взрывом и сорван наводнением, таможня разрушена минометным огнем. Сообщение с Гондурасом прервано. Но именно оттуда, из-за реки, в случае большой войны, мы ожидаем главный удар «контрас», гондурасской армии и корпуса американской морской пехоты... – Сесар обнаруживал осведомленность, превышавшую опыт романтического проповедника и революционного пропагандиста. Белосельцев вспомнил слова резидента, намекавшего на то, что его спутник не просто писатель, но и работник безопасности. Оба они, похоже, пользовались одной и той же легендой. Скрывали друг от друга свою истинную сущность, быть может, с разной степенью достоверности. – На той стороне границы расположено до десяти лагерей и баз, откуда «контрас» наносят удары. Вторым эшелонам стоят подразделения гондурасской армии и корпуса морских пехотинцев. В рамках совместных учений «Биг пайн-2» они репетируют вторжение в Никарагуа...

Сесар легкими мановениями большой коричневой руки набрасывал в воздухе несуществующую карту приграничной местности с расположением баз и частей. Каждое его мановение рождало образ выдвигающихся к границе отрядов, рокочущих танков, гудящих на взлетных полосах самолетов. Пятнистые склоны, где пропадало пустое шоссе, таили в себе напряжение удара. Оттуда, едва заметный в колебании солнечного воздуха, исходил луч опасности. Вонзался в грудь Белосельцеву, и тот, как ракета самонаведения, захватывал этот луч, стремился ему навстречу.

– На всем протяжении границы от Гуасауле до Сан-Педро-дель-Норте в ближайшее время возможен крупный прорыв. Из Эл-Аноаль или из Гуаликимито в Гондурасе, где их главные базы. Их цель – захватить один из наших населенных пунктов, завязать бой, вовлекая в него наши части. Это им нужно, чтобы сковать нашу армию, воспрепятствовать ее перемещению в горный район Матагальпы, куда на прошлой неделе прорвался контингент «контрас» численностью до двухсот человек. Мы их окружили, расчленили, ведем уничтожение. Противник самолетами доставляет в горы боеприпасы и продовольствие...

Сесар, сделав сообщение, смотрел на Белосельцева спокойно, внимательно, позволяя обдумать услышанное. Чтобы услышанное проникло в него, омыло его сердце и разум, побудило принять решение. Это решение могло быть двояким. Они могли, минуя развилку, спуститься в золотисто-голубую долину, в гончарно-желтый городок Саматильо, вкусно пообедать в таверне жареным поросенком, выпить холодное пиво и вернуться в Манагуа, где Белосельцев, перед тем как улечься, занесет в блокнот впечатления минувшего дня – посещение лагеря беженцев, рассказ о боях, и этого будет достаточно для журналистского репортажа с границы. Все это так, если Белосельцев – простой репортер. Если же он – некто другой и его глубоко волнуют военные аспекты борьбы, он поедет к границе, тем самым разрушив легенду.

Так думал Белосельцев, чувствуя на себе испытующий взгляд Сесара, рассматривая перекресток, над которым колебался невидимый маятник, и он, Белосельцев, чувствовал себя на качелях.

– Обычно «контрас» подвозят к границе на грузовиках гондурасской армии. – Сесар продолжал искушение, питая боевой информацией, которая должна была побудить его сделать выбор. – Сообщают им сведения, добытые гондурасскими летчиками при облете нашей границы. Минометные батареи гондурасцев осуществляют артналет, обеспечивают атаку «контрас». Они же обеспечивают обратный отход. Их ждут грузовики и санитарные машины. Мы преследуем нарушителей только до границы, запрещаем войскам заходить на сопредельную территорию. Не можем себе позволить перейти границу и разгромить расположенные там лагеря. Понимаем, что бой в районе Сан-Педро, или Санто-Томас, или Сан-Франсиско-дель-Норте может быть использован империалистами для начала большой войны в Центральной Америке, во всем западном полушарии или даже во всем мире...

Белосельцев чувствовал на лице холодные, лижущие язычки опасности. Вспоминал, когда впервые, еще до службы в разведке, в своих молодых путешествиях, смерть к нему приближалась и была остановлена хранящим его Творцом.

Впервые это случилось в Армении, в горах Зангизура, островерхих, конических, как отточенные шпили кирх. Солнце, вода и ветер разрушали породу гор, обтачивали, расщепляли на шелушащиеся сыпучие гранулы, которые мерно и непрерывно, с тихим шорохом осыпались в низины. Колючие, словно красно-коричневые веретена, в непрерывных шуршащих осыпях, в каменных текущих ручьях, они напоминали огромные, под солнцем, песочные часы, которые струйками непрерывного камнепада отсчитывали столетия, вели исчисление земных времен. Влекомый необъяснимым любопытством, желанием коснуться этого древнего, от сотворения мира, прибора, он полез на пик, цепляясь за хрупкие выступы, озирая розово-фиолетовые островерхие вершины, изумрудные склоны с белой отарой овец, синюю туманную бездну с бисерной ниточкой реки. В неверном движении обломился колкий гранит, чешуйчатый склон пришел в движение, потек, повлек его вниз, к обрыву, где поджидала его фиолетовая бездна. Чувствуя в мелком, обгонявшем его качении камушков свою смерть, моля о спасении, он прижимался лицом и грудью к сыпучей поверхности, старался стать плоским, вминался телом в режущий скат горы. Пускал в свою плоть заостренные кромки, отточенные зацепки, рвущие выступы. Слышал, как камни с треском прорывают во многих местах его кожу, оставляют на ней длинные раны. Сползал к своей смерти, испытывая ужас, и этим ужасом, страстным стремлением жить, упованием на хранящую, витающую над его головой силу замедлял движение. Застривал, зависал, поддетый под ребра, под скулы вонзившимися остриями. Окровавленный, в разодранной липкой рубахе, вернулся в гостиницу, оставляя в вечерних, похожих на фиолетовые балахоны вершинах свою смерть.

– Тактика «контрас» сводится к следующему, – вещал Сесар бесстрастно, предоставляя ему право на выбор, когда бы он мог, избегая опасности, сохраняя свою легенду, довольствоваться устным рассказом. – Они занимают наш населенный пункт. Убивают всех активистов. А прочее население – женщин, детей, пожилых крестьян, – а также скот угоняют с собой в

Гондурас. Вначале мы хотели эвакуировать от границы все население, вывести из-под ударов. Но потом избрали другой путь. Раздали народу оружие. Поселки вооружены. В них действуют комитеты сандинистской защиты. Они сами в состоянии дать отпор «контрас»...

И еще один случай, когда едва не погиб в песках, Каракумах. Пренебрег увещанием старожил, отправился в полдневный жар в пустыню, желая ощутить великолепие раскаленных песков. Углублялся в пожарище бесцветных сыпучих холмов, восхищаясь их чистотой и стерильностью. Будто в кварцевом тигеле пылала накаленная добела спираль, уничтожала всякую жизнь, оставляя лишь кристаллическое свечение песков, пустую лазурь неба, маленькое жгучее солнце. Двигался по горячей лопасти бархана, любясь ее аэродинамическим совершенством. Она напоминала лепесток пропеллера или отточенную лопатку турбины, обдуваемую солнечным ветром. На срезе, на ее утонченном лезвии дымился турбулентный вихрь, вращался непрерывный горячий смерч. Бархан, врезанный в синеву, точил ее, вращался в ней, истачивался о нее, разбрызгивая тучи бессчетных песчинок. Он спустился с бархана, обрушивая пылающие струи, чувствуя жжение подошв. Стоял на дне действующего реактора, где каждая песчинка направляла в него лучик своей радиации. Его кровь медленно, тихо вскипала красными огненными пузырьками. Он стиснул глаза и сквозь веки видел свою алую жизнь, ультрафиолетовое, лиловое солнце. Его сердце начинало ухать, он слабел, задыхался. Почувствовав приближение обморока, стал выбираться из барханов. На границе пустыни, где кончались пески и росло мелколистное колючее дерево, он потерял сознание. Упал в сквозную белесую тень. Там, в тени кандыма, обкусанного верблюдами, он пережил тепловой удар, пережил свою смерть. И потом, лежа под тентом, принимая из рук хозяина-туркмена пиалу зеленого чая, благословлял то безвестное дерево, вышедшее ему навстречу в пустыню, посаженное кем-то по наущению Господа ему во спасение, набросившее на него спасительную чахлую тень.

– Мы считаем, – продолжал Сесар, – если случится вторжение гринго в Никарагуа, то это будет сначала война в Центральной Америке, а потом и во всем мире. Наша революция – она ведь не только наша. Она и кубинская, и китайская, и вьетнамская, и ангольская, и, конечно же, ваша, советская. Вы не оставите в беде Никарагуа, и в той мировой войне, которую развяжут гринго, погибнет мировой империализм...

И еще один раз, в самолете, когда летел в Сургут на двухмоторной машине. Задремал, и ему приснился вещий сон. Будто он привязан к распятию на отвесной скалистой горе, и по склонам этой горы вьются серпантинном дороги, мчатся автомобили, несутся по спирали железнодорожные составы, дымят заводы, туманятся города. Корни распятия уходят в чью-то древнюю глухую могилу с грудой белых безвестных костей, а вершина с его привязанными руками колышется среди звезд и светил. Этот сладкий и мучительный сон был прерван креном машины, надсадным воем мотора. Испуганная, белая как мел стюардесса упала рядом с ним в кресло, стала пристегивать ремень, говоря, что загорелся мотор и они идут на посадку. Он видел, как в круглом окне из металлического кожуха сыплются бледные искры, выпархивает пульсирующий плотный дымок. Его охватила такая беспомощность, такое упование на чудо, что забыл привязать ремень. Самолет, чихая и фыркая, приземлился у края поля. С воем подкатывали пожарные и санитарные машины. Какой-то старик на переднем сиденье все не мог достать валидол.

Три этих давних случая один за другим проплыли, как знаки судьбы, вероятность непредсказуемой смерти. Опасность, которая веяла из соседних буро-зеленых холмов, была предсказуема. Его воля, отмерив необходимое число колебаний, остановилась у маленькой красной отметки, зашкалив прибор – невидимое миру устройство, помещенное в сердце, делающее его разведчиком.

– Дорогой Сесар, – весело, не боясь разрушить легенду, сказал Белосельцев. – Ну какой бы я был репортер, если бы отказал себе в удовольствии сфотографироваться с вами на гра-

нице Гондураса. Вы ведь отпустили в рискованное путешествие Росалию, хотя я видел, как вы тревожились за ее безопасность.

– Но ведь это наша война.

– Это и моя война, – сказал Белосельцев.

Сесар молча кивнул. Завел машину. Наложил на руль большие коричневые руки. И они покатали к холмам Гуасауле.

Глава четвертая

Они приближались к границе, и трасса была пустынной, без грузовиков, пешеходов, солнечно-синей, среди пятнистых холмов, где веяли дуновения притаившейся безымянной опасности. Дорогу преградило срубленное, брошенное на асфальт дерево. На обочине был отрыт окоп, наложены белесые мешки с землей. Из амбразуры торчал пулемет. Солдаты преградили путь, выставив автоматы. Сесар остановил машину. Они с Белосельцевым вышли, в сопровождении солдат направились к брустверу, где на самодельном столике стояла полевая рация, сидели на распиленном древесном стволе солдаты, лежало оружие. Сержант, молодой, плохо выбритый, с усталыми красными глазами, поднялся им навстречу, тревожно и недоверчиво рассматривая светлое, не успевшее загореть, чужое лицо Белосельцева. Сесар произнес что-то негромкое, дружественное, мягкое. Извлек из своей военной куртки бумаги, протянул сержанту. Тот долго, напрягая утомленные глаза, читал.

– До реки два километра. Впереди больше нет постов, – сказал сержант, возвращая бумаги. – Обстановка два дня спокойная. До этого была беспорядочная стрельба с той стороны. Мы послали разведку. На шоссе лежал убитый баран. Может, снайпер из Гондураса застрелил его от скуки.

– Мы бы хотели с моим коллегой подъехать к реке. Он сделает снимок для советской газеты, – сказал Сесар мягко, но и настойчиво, властным взглядом подкрепляя содержание сопроводительных бумаг.

– У вас есть оружие? – Сержант осмотрел гражданское облачение Белосельцева, фотокамеру на ремешке.

– Только это. – Сесар ткнул в кобуру, висящую на капроновом ремне.

– Возьмите. – Сержант, нагнувшись, взял автомат и протянул Сесару. – Я дам солдат для прикрытия.

В тесный «Фиат» на заднее сиденье кроме сержанта поместилось еще два солдата, которые с трудом втянули в машину молодые длинные ноги, тяжелые бутсы, звякающие автоматы.

– Поезжайте не быстро. Машину поставьте у здания таможни, чтобы ее нельзя было обстрелять, – сказал сержант, опуская стекло и высовывая ствол наружу.

Шоссе растворилось, словно раздвинули пятнистые шторы холмов, и открылась неширокая долина, по которой протекала еще невидимая река. На другой стороне высилась зеленая сочная гора с синими тенями проплывавших облаков.

– Гондурас, – кивнул на гору сержант. – Еще два года назад здесь проезжало много машин. Можно было проехать в Гондурас, Сальвадор, Мексику, а если приспичило, то и в Калифорнию. Потом оттуда стали стрелять. Мост подорвали, и его снесло наводнением. Теперь здесь живут одни ящерицы.

Они приблизились к строению таможни, которое издали казалось нарядным и обитаемым, а вблизи темнело разбитыми окнами, рубцами и пулевыми отметинами. Шлагбаум был сорван и смят. Под ногами хрустели осколки.

Сесар остановил машину впритык к бетонной стене, заслоняясь ею от сопредельной горы. Белосельцев читал надпись: «Добро пожаловать в Никарагуа», изорванную очередями. Брызги минометных разрывов напоминали черные звезды, врезанные в асфальт. Он хотел пройти оставшийся до реки отрезок шоссе и взглянуть на остатки моста, на состояние берегов, на возможность восстановления переправы, способной, в случае наступления, пропустить колонны танков и грузовиков с пехотой.

– Сесар, я бы хотел подойти к мосту и снять его. Этот снимок послужит вещественным доказательством того, что мои репортажи я писал не в уютной гостиной, распивая ром «Флор де Канья».

– Мы можем подойти к реке? – обернулся Сесар к сержанту.

– На той горе, – сержант указал на зелено-голубой склон, – находится их наблюдательный пункт и сидит снайпер. Он может открыть огонь. Тогда вы сразу должны лечь на землю. Солдат мы оставим здесь, для прикрытия. Не следует появляться у моста большой группой.

И моментальная, быстрая мысль, похожая на угрызение совести. Он, Белосельцев, выполняет свое задание, подвергая опасности Сесара и сержанта. Ради своей профессиональной цели он рискует их жизнями, пользуясь их доверчивостью, гостеприимством, выглядит в их глазах наивным, не ведающим опасности человеком с непонятными им журналистскими прихотями.

Сержант вполголоса приказал что-то солдатам. Один из них укрылся за выступом таможни, прижав автомат к стене. Другой цепко и ловко вскарабкался по уступам на крышу, распластался, и было слышно, как лязгнул затвор автомата.

– Можем идти, – сказал сержант, и втроем они двинулись вперед, по пустому асфальту, на который с обочин уже напозлали зеленые плоские листья и копилась труха и пыль, не раздуваемая проносящимися автомобилями. Белосельцев чувствовал свою тень где-то сбоку, не сводя глаз с горы. Мерил до нее расстояние не зрачками, а дыханием, грудью, словно гора оставляла на его груди свою пятнистую, сине-зеленую татуировку.

Было тихо. Только слабо чиркали об асфальт их подошвы, и в зелени, то догоняя, то отставая, звенел кузнечик. Белосельцев смотрел на гору, ожидая бледную вспышку выстрела, немедленный удар в грудь, звезду боли. Но не было вспышки, только чувство просторного, сияющего объема, стянутого невидимым напряжением в центр – в его грудь, в его сердце.

Сесар шел рядом, мягко, чуть сутуло, водя глазами, словно хотел в случае выстрела кинуться, заслонить собой Белосельцева. Сержант приотстал, оставляя себе сектор обзора, возможность бить навскидку вперед.

Белосельцев шагал, чувствуя на себе сложение двух противоположных сил, словно два разных ветра дули ему в лицо и в спину, и его продвижение складывалось из разницы этих противодействующих давлений. Невидимый мост, который должен быть запечатлен на фотоснимке, стать предметом рассмотрения аналитиков, изучающих возможность крупномасштабной войны, этот мост неуклонно притягивал к себе Белосельцева. Но каждая его страшная жилка, каждая желающая жить клеточка протестовала, останавливала, замедляла шаги. Гора издали протягивала к нему пятнистую, с тенями облаков ладонь, прижимала ее к потному лбу, запрещала идти. Он боролся с горой, боролся с крохотными вихрями страха, крутящимися в кровяных тельцах, переставлял ноги по асфальту. Будто кто-то нес перед ним запрещающую полосатую ленточку. Достигая ее, он чувствовал натяжение, давление на грудь. Разрывал ее, проходил дальше, но она опять возникала, снова касалась груди. Он весь превратился в чуткость, в слух. Слушал свое длящееся пребывание в мире, готовое вот-вот оборваться.

Кузнечик звенел, расширял свой звук до сияющих синих небес, снижался, стихал в траве и снова взмывал, достигая высоты и господства, властвуя над этими упрямыми, не ведающими истинных целей людьми, заглянувшими в его царство травы, синевы, солнца.

Они остановились на самом краю асфальта, оторванного и упавшего вниз. Внизу, переломленный натрое, снесенный и заваленный илом, лежал мост. Пучил реку, драл ее на длинные, гремящие, пузырящиеся лоскутья. И в том, как легко, многократно он был переломлен, какие бетонные глыбища висели над рекой, как велик был комель застрявшего под мостом ободранного дерева, чувствовались слепые удары – сначала взрыва, а потом наводнения.

Белосельцев оценивал величину разрушения. Мост был невозстановим, в окрестностях не было видно следов ремонтных работ, попыток возвести стационарную переправу. Но на берегу, с обеих сторон, были покатые спуски, и не составляло труда перебросить через реку понтоны – инженерные машины подкатывают одна за другой к воде, плюхают полые, облегченные, ребристые конструкции. Под прикрытием вертолетов саперы наращивают плоский,

колеблемый мост. И через час по красной глине откоса на него вползают тяжелые дымящие танки, грузовики с пехотой, тягачи с артиллерией. Колонна вслед за огненным валом, сопровождаемая барражирующими вертолетами, выкатит на автостраду, помчится к Манагуа, сметая редкие посты и заслоны.

– Сесар, позвольте я вас сфотографирую!.. Вот сюда, к самому берегу!.. – Он поставил Сесара так, чтобы в кадр попали река и руины моста. Снимал, меняя расстояние, ракурс, чтобы были видны спуски на берегу, перекаты обмелевшей, утратившей мощь реки. – Сержант, и вы, пожалуйста, встаньте!.. Снимок на память! – Сержант занял место рядом с Сесаром, и Белосельцев снимал их обоих в камуфляже, с опущенными автоматами, уходящее в Гондурас шоссе, отдаленное строение, видимо гондурасскую таможенную, и гору с чудесной, пленительной синевой от медленных облаков.

Фотографируя, радуясь уловленной в объектив информации, он не переставал чувствовать царящее здесь особенное состояние мира – реальность военной границы. Не вода пробурлила здесь, ломая мост, расталкивая друг от друга распавшиеся берега, а война. В этой зоне планеты, терзаемой землетрясениями, наводнениями, извержениями и торнадо, действовала еще одна геологическая стихия – война. Он стоял на асфальте, по которому у него под ногами в любую секунду могла пробежать рваная трещина, открыться дынный провал, увлечь его в бездну.

– Вы сфотографировали все, что хотели? – спросил сержант. – Надо идти. Здесь нельзя оставаться слишком долго.

Они повернулись, пошли обратно, медленно, по солнечному шоссе, под стрекот кузнечика. Белосельцев мысленно просил прощения у Сесара и сержанта за то, что заставил их рисковать. Вдруг подумал: если ему суждено дожить до глубокой старости, то в сонной бессильной дремоте, в меркнувшем разуме вдруг возникнут это пустое шоссе, пятнистая гора Гондураса и вечий стрекот кузнечика.

Они возвращались к перекрестку, откуда свернули на Гуасауле.

– Сесар, – сказал Белосельцев, – насколько я понимаю, это очень опасное направление. Гондурасская армия при поддержке морских пехотинцев может преодолеть расстояние от границы до Манагуа за сутки. Ибо здесь нет рубежей обороны, больших гарнизонов, серьезных водных и горных преград. Вы не боитесь вторжения?

– Народная война не предполагает рубежей обороны. Таким рубежом становится каждый порог, каждый куст, каждый холмик. Американцы знают, что наш народ получил оружие и будет воевать до конца.

– Вы думаете, если положить на это шоссе шляпу Сандино, американские танки не сумеют ее объехать?

– Именно так, Виктор. Американцы не сумели объехать шляпу Хосе Марти на Кубе. Они не объедут шляпу Фарабундо Марти в Сальвадоре. И они разобьют себе нос, споткнувшись о шляпу Сандино.

– И все-таки мне, как военному журналисту, хотелось бы узнать о вашей оборонной стратегии.

Сесар не ответил, управляя машиной, словно что-то обдумывал. Когда проезжали едва заметный спуск на обочину, продавленный грузовиками, он замедлил ход и свернул на глинистую, проложенную в зарослях колею.

– Я кое-что вам покажу. Как другу. В чем заключается наша военная хитрость.

Они проехали военный пост, где Сесар снова предъявил документы. Еще один пост, где колею преграждали переносные козлы с колючей проволокой. Выехали на поляну с расчищенными зарослями, окруженную холмами. Вышли из машины. Сесар повел Белосельцева к рыжим грудам свежевыкопанной земли. Подвел к краю глубокого капонира, и Бело-

сельцев, стоя на земляной гряде, заглядывая в глубину, увидел установку залпового огня «Град» – кабину грузовика, выкрашенную защитной зеленой краской, направляющие полозья, где лежали длинные реактивные снаряды, – все деревянное, свежескрашенное, пахучее. Фанерная кабина, дощатые направляющие, вырезанные из длинных бревнышек, покрашенные ракеты. Муляж залповой установки был поставлен в капонир, к которому тяжелый грузовик продавил ребристые колеи.

– Это что? – изумился Белосельцев, не понимая смысла этой искусной имитации.

– Пойдемте дальше. – Сесар торжествующе улыбался, увлекая Белосельцева на другую сторону холма, где также была расчищена поляна, вырыт глубокий капонир и на дне, почти скрываясь в земле, стояла деревянная установка «Град», нацеливая свои заточенные ракетобразные полешки в сторону Гондураса.

– Это что?.. Тренажеры?.. Учебные мишени?..

Сесар не ответил, наклонил голову, обращая коричневого, с кустиком волос, ухо в синее небо, в котором из-за вершины холма возникал ровный металлический звук.

– Авиаразведчик «Т-28»... Прилетает из Гондураса два раза в день... Ведет разведку местности...

Белосельцев смотрел в синеву, в которой плыл, растекался, раскрывал металлический зонтик звук летящего самолета, и в сияющих небесах, где от напряжения зрачков синева то блекла до жидкой белизны, то вновь собиралась в сочные темные сгустки, увидел высокое, прозрачное, словно созданное из стекла тело самолета, медленно идущего вдоль границы. Представил, как пилот из кабины видит извилистую реку, пересекающее ее пустынное шоссе с разорванным мостом, пятнистые, рыже-зеленые холмы, рывины капониров с установками залпового огня и их с Сесаром, стоящих на глинистых грядах.

– Летчик докладывает в штаб гондурасской армии, что на этом направлении они встретят мощное противодействие – дивизионы советских ракет. И это останавливает их наступление. – Сесар торжествовал, старался понять, какое впечатление произвела на Белосельцева их военная хитрость.

Тот изумлялся, одобрителем кивал головой, стараясь не подать вида, как больно поразила, горько тронула его эта наивная, легко раскрываемая детская хитрость, с помощью которой маленькая, не имеющая оружия страна хотела остановить вторжение могучей армии гринго, накапливающей на границе танковые бригады, развертывающей аэродромы бомбардировщиков, стягивающей к побережью флоты, развешивающей над объектом удара космические разведывательные группировки.

– А вы не бойтесь, что такая «поставка» деревянных ракет в Никарагуа вызовет американо-советский кризис, наподобие Карибского? – Белосельцев прислушивался к затихающему звону самолета, стараясь поудобнее устроиться на супучей гряде земли, зависая над фанерной кабиной.

– Вот и хорошо, – смеялся Сесар. – Тогда мы уберем эти деревянные установки в обмен на безопасность.

Белосельцев хотел ему что-то ответить. Не удержался на сыпучей земляной гряде, поехал вниз, в яму. Проезжая по сырому, невысохшему срезу, рухнул, больно ударяясь плечом о деревянный макет. Боль была столь сильна, что на мгновение он потерял сознание. Очнулся, лежа в яме, у грубых деревянных подставок, на которых покоился макет. Сесар с испуганным лицом спускался в капонир, протискиваясь вдоль грубо крашенных досок.

– Вы целы, Виктор?

– Я первый, кто попался на вашу хитрость, – бодрясь, ответил Белосельцев, чувствуя, как набухает под рубахой выбитый сустав плеча. Боялся снова потерять сознание. – Никогда не думал, что система «Град» обладает такой разрушительной силой.

Сесар помог ему выбраться из ямы. Повел к автомобилю, с сочувствием глядя на его побледневшее плечо.

– Может быть перелом, Виктор. – Он помог Белосельцеву расстегнуть рубаху, рассматривая выбитый, с малиновыми взбухшими жилами сустав. – Надо к врачу.

– Эти «волчьи ямы» – гениальное изобретение вашего Генерального штаба, – пробовал шутить Белосельцев. – Каждый вечер нужно их обходить и вытаскивать застрявших морских пехотинцев. В конце концов у американцев иссякнут людские ресурсы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.